

18+



Михаил Елизаров

НОГТИ

Читальня Михаила Елизарова

Михаил Елизаров

Ногти

«Издательство АСТ»

1998-2005

Елизаров М. Ю.

Ногти / М. Ю. Елизаров — «Издательство АСТ»,
1998-2005 — (Читальня Михаила Елизарова)

ISBN 978-5-17-133611-0

Михаил Елизаров – прозаик, музыкант, автор романов «Земля» (премия «Национальный бестселлер»), «Библиотекарь» (премия «Русский Букер»), «Pasternak» и «Мультики», сборников рассказов «Мы вышли покурить на 17 лет» (приз читательского голосования премии «НОС»), «Кубики». «Ногти» – сборник короткой прозы. «Повесть «Ногти» Михаила Елизарова увидела свет в начале нулевых, была отмечена в шорт-листе премии Андрея Белого, а критик Лев Данилкин назвал этот дебют лучшим по итогам 2001 года. То, что раньше считалось глубоким подпольем литературы, вдруг легитимизировалось. Образно говоря, Елизаров откусил магический ноготь, втянув страну в свой ритуал». (Роман Богословский) Содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-17-133611-0

© Елизаров М. Ю., 1998-2005
© Издательство АСТ, 1998-2005

Содержание

Ногти	6
Фридель	45
Голубь Семён Григоренко	47
Фобия	50
Почему не удавили детской шапочкой...	52
Капля	63
На мгновение он ослеп	64
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Михаил Елизаров

Ногти (сборник)

© Елизаров М. Ю.

© ООО «Издательство АСТ»

В данном издании представлены тексты, написанные в 1998–2005 годах

Оформление переплёта и иллюстрация Виктории Лебедевой

Ногти

1

Я познакомился с Бахатовым ещё в Доме малютки. Впрочем, мы не отдавали себе отчёта, что наше знакомство состоялось, – нам было всего несколько месяцев от роду. Первое моё осмысленное восприятие Бахатова произошло в отделении восстановительной терапии, в палате для умственно отсталых детей. Бахатов с младенчества умел произвести тягостное впечатление о состоянии своего интеллекта – виной тому мятой формы череп и бесконечные слюни. Бахатовым его называли потому, что пелёнки, в которых он находился, помимо выделений Бахатова имели штемпельную аббревиатуру «Б. Х. Т.». Мои же пелёнки, если таковые имелись, ничего, кроме меня и моего горба, не содержали.

Я появился на свет горбуном – плод эгоизма и безответственности, резюме пьяных рук, постфактум отравленного вестибулярного аппарата. Меня не отдали к сколиозникам, а оставили на потеху у слабоумных. Эрудит-доктор придумал мне фамилию – Глостер. Королевское клеймо безграмотные сёстры частенько меняли на Клистир. Но по паспорту я – Глостер, подкидной дурак, как и Бахатов.

С рождения меня сопровождал сонм обидных поговорок и прибауток. Няньки, бывало, так и кричали: «Слышь, для тебя новый массажёр придумали, чтоб горб исправить! Знаешь, как называется?!» Я отвечал: «Нет», – а они: «Могила!» – и смеялись до колик. На медосмотр, в столовую, на прогулку меня звали, искусственно огрубляя голос под Владимира Высоцкого: «А теперь – Горбатый! Я сказал, Горбатый!» – если я мешкал. Однажды, я уже был постарше, директор нашего интерната в присутствии врачей, сестёр и нянек подозвал меня и сказал: «Угадай, как ты будешь называться, если станешь пидарасом?» Я промолчал, чувствуя подвох, и он сам ответил: «Пидарас горбатый!» – и расхохотался так искренне, что я засмеялся вместе с ним. Я научился отвечать смехом на любую выходку.

Бахатов, в сущности, тоже был нормальным, только некрасивым, и оставалось догадываться, что глотала или пила мамаша Бахатова, чтоб избавиться от него.

Но мы смогли научиться читать и писать, у меня иногда появлялись трудности с арифметикой, у Бахатова – с гуманитарными дисциплинами, однако я подчеркиваю: мы были нормальными. Специально мне и Бахатову завхоз доставал учебники, подготовленные Министерством образования для школ в Средней Азии на русском языке. Дебильные буквари-раскраски не утоляли нашего умственного голода. Иногда к нам приходили учителя из нормальной школы и рассказывали про Африку и другие страны, а завхоз показывал, как клеить конверты.

Я вспоминаю момент, когда я впервые смог осязать сознанием, понять глазами существование Бахатова. До этого я помнил все события своей жизни только спиной. Невидимые руки хватили меня за мою горбатую шкуру и несли, как чемодан. В полёте я увидел Бахатова. Он рос из горшка, похожий на бутон тюльпана, и бессмысленно выл. Меня усадили на горшок рядом с ним, и мы смогли разглядеть друг друга. Бахатов перестал плакать, засунул в рот палец и попытался обгрызть ноготь. Зубов не хватало, и Бахатов опять заплакал, но я уже знал причину его слёз. Я глянул вниз и увидел ноги Бахатова, ступни и длинные, с чёрным гуцульским орнаментом ногти. Первое воспоминание моего ума.

2

В возрасте шести лет нас перевели из больницы в специальный интернат «Гирлянда». Это было зимой. Заведующая отделением передала наши документы человеку, приехавшему на тёмно-зелёном уазике, нам собрали в дорогу олады и майонезную баночку с яблочным повидлом, закутали во множество одежек; одна из няnek, жалевшая меня больше других, натянула мне на горб вязаную шапочку. Бахатову дали в подарок пластмассового белого зайца с плоскими заманчивыми ушами. В дороге Бахатов обгрыз зайцу уши под череп, но держался молодцом и не плакал.

Интернат находился километрах в тридцати от города. Когда-то это был пионерский лагерь. Вокруг двухэтажного здания ещё сохранились качели всех сортов, игровые площадки для волейбола, баскетбольные щиты, небольшой стадиончик, беседки и бетонированная площадка с железной мачтой – место линеек, но всё пришло в упадок. Новые обитатели лагеря нуждались только в койках. В интернате находились чуть больше сотни детей: десятка полтора-два даунов, дюжина гидроцефалов с тыквенными головами, дистрофики с вздувшимися паучьими животами, с атрофированным телом, костяными ручками-ножками – таких штук двадцать имелось, и многочисленные разных степеней олигофрены. Таков был слабоумный контингент специнтерната «Гирлянда», или, как поэтично называл нас директор, «Ума палаты».

Мы зашли внутрь здания и проследовали по коридору до кабинета с плексигласовой табличкой. Человек, который приехал с нами, постучал гулким суставом в дверь, и мужской голос разрешил войти.

– Вот, привёз, – сказал человек.

Тот, кто впустил нас, стоял возле окна со стаканом в руке. На лице оставалась гримаса от содержимого стакана, но постепенно рот его разгладился. Он чуть согнулся, оперев руки в колени, и спросил почти приветливо:

– Откуда ж вы такие приехали, ребятишки? – Он улыбнулся. – От верблюда?

Бахатов чудовищно зарыдал, я чудовищно засмеялся. Взрослые переглянулись, наш конвойный достал из кармана ириску и помахал ею перед носом Бахатова.

– Ну, а как вас звать-величать? – спросил главный.

К этому вопросу нас готовили целый месяц, мы репетировали ответ под наблюдением заведующей и довели до автоматизма. Я сделал шаг вперёд и сказал:

– Александр Глостер!

Бахатов, усмирённый конфетой, вязко прошамкал:

– Серёжа Бахатов.

– А я – Игнат Борисович, – сказал главный. – Будем дружить? Я здесь директор, и все детки должны меня слушаться, а не то сразу в попку укольчик!

– Пора, поеду, – конвойный положил на стол папку с нашими жизнями.

– В добрый путь, – сказал весёлый Игнат Борисович и спрятал папку в сейф.

Потом пришла нянька. Она показала, где находятся наши шкафчики, мы сложили туда больничные лохмотья, и нянька научила, как запомнить свою дверцу. Вместо обеда, который уже закончился, мы доели наши олады. Меня и Бахатова отвели в палату и усадили каждого на свою кровать. Закономерно или случайно, но они стояли рядом.

– Вы ж два братика, – сказала нянька, вкладывая смысл.

Только она оставила нас, кровати зашевелились, и из-под одеял повылезали дети. Один свалился на пол и на четвереньках пополз в нашу сторону, издавая рычащие звуки: дрын-дыг-дыг-дыг. Очевидно, эта шумовая комбинация имитировала рёв двигателя. Также я успел заметить, что у ползущего высохшие до косточек, отмершие ступни. Я приветливо просигналил

губами, полагая, что с машиной нужно общаться на её языке. Нас благополучно объехали. На соседней кровати кто-то душераздирающе крикнул: «Винни-Пух, Винни-Пух!» – и забился в припадке.

Несколько лупоглазых голов поднялось над подушками. Самый взрослый мальчик начал всех успокаивать: «Мама ушла за гостинцами», – и ещё какими-то неразборчивыми словами. А потом повернулся ко мне и неожиданно заорал: «Не бойся!» – и ударил себя по лицу.

А вот моя кровать мне очень понравилась, в больнице таких не было: старого образца, с панцирной сеткой и узорными чугунными спинками, украшенными блестящими шариками. Я сразу схватился за один из них и попытался отвернуть, но пальцы только скользили по гладкой поверхности шарика. Он не отвинчивался потому, что являлся литой частью, и это было даже лучше – я нашёл занятие своим нервным рукам.

Бахатов всегда и везде утешался обкусыванием ногтей. Отращивал и, уединившись, обкусывал. Так повелось ещё с нашего пребывания в больнице. В интернате этот ритуал сложился окончательно. Бахатов не терпел свидетелей, но я был началом его памяти, мне разрешалось всё.

Обряд проходил раз в месяц в строгой последовательности: с утра Бахатов не мыл рук и постился, на закате он доставал клочок «Комсомольской правды» или какой-нибудь другой газеты и, повернувшись лицом к солнцу, громко читал, что там написано. Затем Бахатов закатывал глаза, опускался на колени и начинал обкусывать ноготь на мизинце правой руки, следом – на безымянном, среднем, указательном, большом пальцах – ногти ни в коем случае не выплёвывались – и принимался за левую руку. Ногти обкусывались в том же порядке – от мизинца к большому пальцу.

Десять прозрачных полумесяцев Бахатов сплёвывал на газету и, в зависимости от того, как легли ногти, делал выводы о будущем. Под влиянием ногтей информация, напечатанная в газете, трансформировалась в предсказание, Бахатов получал программу поведения на следующий месяц для себя и меня. Чистота соблюдения ритуала гарантировала нашу безопасность. Гадание заканчивалось тем, что Бахатов зазубренными пальцами глубоко царапал грудь и выступившей кровью кропил ногти и бумажку, а потом всё закапывал в землю, нащёптывая неизвестные слова.

Мне бы хотелось глубже проникнуть в суть его священнодействий, но Бахатов убеждал не делать этого, говорил, что опасно. Помню, однажды я послушался его и заглянул в бумажку с ногтями. Я мельком увидел колодец, липкая чернота которого схватила меня за голову и потянула. Я услышал за спиной жуткий собачий вой и потерял сознание. Бахатов привёл меня в чувства. Он выглядел измождённым. Я хотел было пошутить, но осёкся – Бахатов буквально истекал кровью, изорвав тело до рёбер. С его слов я понял, что он этим откупил меня от колодца и собаки. Больше я не вмешивался в религиозную жизнь Бахатова.

Конечно, ему было трудно в течение месяца не прикасаться к ногтям. Приходилось искать искусственные заменители. Мы предпринимали тайные вылазки на окрестные свалки и там собирали пробки из-под шампанского, пластмассовые крышки и вообще все мягкие пластиковые предметы.

Я пытался занять Бахатова отвинчиванием шариков. Года два он вяло следовал моему примеру, потом забросил, говорил, что не видит смысла. Я объяснял ему, что в этом и есть глубинный смысл – отвинчивать неотвинчиваемое. Бахатов лишь качал головой и улыбался.

3

А в остальном наши дни текли спокойно, сытно и размеренно. В те времена государство кормило нас на пять рублей в сутки. Мы получали по воскресеньям шоколад и даже празднично-

вали Новый год и Первомай. На праздники всех детей звали по именам и только провинившихся или обгадившихся – по кличкам. Правда и то, что безропотному большинству было всё равно, как звать, чем кормят и в чём они спят. Далёкие от мира и речи, они существовали запредельной немой мыслью, которая едва шевелила их медленные лица. Некоторые дети не разговаривали, а пользовались жестами. Играли тоже по-особенному, в одиночку, сидели без движения, что-то шептали, а игрушку держали в руке. Сюжетные события разыгрывались в воображении. Спросишь такого, что он видит, а тебе в ответ: «Прекрасных зайчиков», – и ни слова больше. Со многими мы подружились. Они оказались славными: и механический ползун Толя-Вездеход, и гидроцефал Димка, по прозвищу Чеснок, и Сульфат Магний Ибрагим, прилежный даун, и Катька-Надоела-Голова, чудаковатая девчонка, – всех не перечислишь.

Они умирали тихо и незаметно: кто во сне, кто в момент кормления; шейка будто надламывалась, голова свешивалась набок и глаза леденели. Всегда умирали по двое, с небольшим интервалом. Каждому находился братик или сестричка в смерти. Если родные не приезжали за трупами, их хоронили на собственном кладбище, находившемся на территории интерната.

Кладбище было хозяйственной гордостью Игната Борисовича. Из гуманных соображений его разместили подальше от детских глаз. По эстетическим соображениям места захоронения окружала живописная парковая природа. Игнат Борисович особенно упирал на то, что за могилками у нас всегда присмотрят.

Самой нелепой смертью умер, пожалуй, только наш Толя-Вездеход. Он ползал, надо сказать, замечательно, преодолевая трудные поверхности. Увязался он как-то с нами, ходячими, гулять и угодил в старую выгребную яму – видно, затянуло проклятую зелёной ряской. Вездеход, приняв её за лужайку, ушёл на дно, как и полагается тяжёлой металлоконструкции, гордо и тихо, без криков о помощи.

Но в свободное от смерти время всё же бывало весело, особенно в Новый год. В самой большой палате койки отодвигались к стенам, а в центре ставилась ёлка. За неделю до торжества все садились мастерить игрушки: вырезали из старых «Огоньков» яркие картинки, наклеивали на картон, а няньки делали нитяные петельки. Мы разучивали стихи и песни. Те, кто мог, украшали окна бумажными снежинками. Под вечер Игнат Борисович приносил из кабинета телевизор, включал его, и начинался праздник. До Московских курантов мы успевали поводить хоровод вокруг ёлки, развлечь себя и медперсонал самодеятельными номерами, поиграть в подвижные игры типа «Кто быстрее перенесёт мамины покупки» – любимая игра Игната Борисовича. Он ужасно смеялся, глядя, как мы сшибались лбами, переноса со стула на стул импровизированные мешочки с покупками загадочной мамы. Потом мы отплясывали под аккомпанемент нашего музыканта Власика. Он разводил пустыми руками, имитируя игру на баяне, при этом всегда мычал один и тот же мотив: «На танцующих утят быть похожими хотят...» – и в такт притоптывал ножкой. Мы выделявали танцевальные па, приседали, кружились – воображаю, насколько потешно это выглядело в моём исполнении, – а Игнат Борисович, все сёстры, санитары и няньки хлопали в ладоши. Ровно в девять нам наливали побродившего компоту и укладывали спать, то есть Новый год мы встречали во сне.

4

В будние дни по утрам мы получали образование. Наша школа, то есть место, где проходили занятия, находилась на первом этаже интерната. Одну из комнат преобразовали в учебный класс. Поставили несколько стареньких парт – подарок совхозных шефов, а на стену повесили доску. Парты были изрисованы прежними детьми, и благодаря этим каракулям я ощущал себя настоящим школьником. Наш урок длился около получаса, и в день больше одного предмета не преподавали, чтоб не перегружать наши маломощные мозги.

В школе, кроме меня и Бахатова, учились ещё шесть ребят. Я сидел за одной партой с Бахатовым. Мы занимались по индивидуальной программе и были единственными, кому ставили настоящие оценки в журнал. Остальным раздавали картонные «пятёрки». По-моему, они и в школу-то ходили только ради этих игрушек.

Учителя, которые приходили из посёлка, побаивались нас. Их отвращали наши лица, неправильные туловища, невнятные голоса, мимика, жесты – всё вызывало брезгливый страх. Как-то на уроке математики Бахатову долго не давалась задачка, он провозился над ней весь урок, вдруг его осенило, он нашёл решение и, радостно гудя, подбежал к молоденькой учительнице. Она упала в обморок – так испугалась Бахатова.

Я с благодарностью вспоминаю аспирантов мединститута, чьи работы каким-то образом касались вопросов педагогики для слабоумных. За полтора года, что они тренировались на нас, мы освоили письмо, читали из специальных книжек, а потом рассказывали, что поняли. И это было очень интересно.

Потом аспирантов сменили обыкновенные учителя. Уроки литературы превратились в чтение вслух сказок, урок языка – в малевание палочек и крючочков. Учителя-мужчины выпивали с Игнатом Борисовичем и весь урок сидели безмолвные у окна. Кто-то, наоборот, оживлялся и вместо положенной географии или ботаники начинал вдруг говорить с нами о жизни, откровенничая, как с пустым пространством. На уроке истории однажды я услышал о своём однофамильце. Нам рассказывали о средневековой Англии, войне Алой и Белой Роз и горбатым герцоге Ричарде Глостере. Много лет спустя, в фильме Алана Паркера «Стена», я увидел мультипликационную схватку цветов, больше похожую на совокупление. Я был поражён тому, что именно так и воспринимал цветочную войну.

От пионеров в наследство осталась небольшая библиотека. Я прочел её всю. Очень мне нравились стихи и вообще сама возможность рифмования. В одной детской книжке под картинкой был стишок:

Двери распахнул отец:
– Получайте огурец!

Не знаю почему, но ситуация представлялась мне необычайно комичной. Сидят себе люди в комнате, вдруг – бах! – распахивается дверь, и на пороге пошатывается отец с огурцом в руке: «Нате, – говорит, – огурец!»

Когда эти строчки приходили мне на ум, я начинал биться в приступах хохота. Литературная мощь двустушия иногда среди ночи поднимала меня и заставляла безмолвно дрожать животом. Во время обеда я прыскал на всех супом, если эта уморительная ситуация всплывала в голове, а я сидел с полным ртом. К сожалению, мне даже не хватало сил прочесть стих хоть кому-нибудь. Я пускал пузыри и давился смехом. Если меня уж очень обижали, я уходил в тихое место, там читал для себя про отца и огурец и тихо смеялся.

5

Я вспоминаю первые в жизни звуки музыки. До трёх лет детства я не тратил эмоций и слыл спокойным ребёнком. Но однажды, после очередной инспекции, устроившей разнос за то, что у детей в палате нет радиоприёмника, всё волшебным образом изменилось. Пришёл больничный столяр и над бесконечно высокой и недоступной розеткой приладил полочку, а чуть позже сестра-хозяйка установила на неё ребристый белый брусок с чёрным, похожим на собачий нос колёсиком. В тот день я себя неважно чувствовал, навалилась очередная хандра, и перекололи меня всякой дрянью. И тут заиграла музыка.

Сейчас мне кажется, что это был Чайковский, фрагмент из «Щелкунчика». Под льющиеся со стены звуки я представил, что умер. Величественная громада музыки привиделась мне собственным прекрасным трупом, и в этом мёртвом отражении меня в каждой ноте звучала боль и сладость спины. Я слушал не ушами, а мыслью, холодившей пустоту горба. Моя искривленная плоть чувствовала с музыкой родство, стремилась стать её горбохранилищем.

Я ощутил всю жизненную тяжесть вскинутого на спину живота, беременного чудным постояльцем. Едва проникнув в горб, он наиграл услышанные звуки. Мои всегда сухие глаза свело судорогой слёз, я зарыдал, и только оттого, что в моём мясистом музыкальном центре играл самостоятельный, неслышный миру органчик. То была боль первого вдоха младенца, первая резь в лёгких.

С того момента все свободные от дружбы с Бахатовым часы я проводил у радиоприёмника. Персонал только посмеивался над этой симфонической страстью. Наблюдая за мной, за моей внимательной согбенной позой, они говорили, что горбун не слушает, а подслушивает у радио.

Я испытывал потребность в звукозаписывателе, извлекал мелодии из всего, что могло греметь, звенеть и тренькать, играл на расчёсках, булавах, столах, банках. Но однажды мне подвелась стоящая штука.

Дело в том, что я и Бахатов и ещё десятка полтора ребят пользовались относительной свободой перемещения в пределах интерната. Уже подростком, тринадцати лет, путешествуя по отдалённому крылу, я наткнулся на незнакомую дверь. За нею было складское помещение. Кроме поломанных стульев, перевёрнутых столов и пыльных тряпичных стендов с пионерским содержимым, там находилось пианино. Я сбросил с него весь наваленный хлам: тряпки, бородастые портреты, гимнастические кольца, нашёл стул с отломанной, будто для меня, спинкой и сел за инструмент.

Конечно же, я имел представление, как играть на пианино, – видел по телевизору композитора Раймонда Паулса. Он точно окунал руки в клавиатуру, а потом выполаскивал их из стороны в сторону. Получалось очень красиво.

Найденное пианино напоминало катафалк. Я осторожно приподнял крышку музыкального гроба, и взору моему предстали жёлтые от времени мощи. Я потрогал их руками, перебрал пальцами каждую косточку, запомнив её звучание. Мне было безразлично, настроены ли струны. Я не нуждался в музыкальном строе и обошёлся бы любым набором, всяким беспорядком. Запомнив звуковые возможности всех клавиш, я стал нажимать на них, комбинируя количество: от одной до десяти – и глубину нажатия. Инструмент полностью мне подчинялся, в меру своих фальшивых сил. Скорость укладывания пальцев в мелодические группы оставляла желать лучшего, но через полгода я мог сыграть любую фантазию горба.

Кого-то из няnek или сестёр угораздило услышать мои музицирования. Они донесли об этом Игнату Борисовичу. Игнат не поверил и попросил меня поиграть для него. Я представил его вниманию вариацию-экспромт, из раннего, на тему «Час на ржавом горшке после пшённой крупы с кубиком аминазина». Игнат Борисович, посмеиваясь, прослушал меня. Я спросил его, можно ли мне приходиться сюда заниматься. Он сказал, что нельзя, и шутливо добавил: «Если перестанешь горбиться, я тебе подарю аккордеон». Терзаясь музыкальной похотью, я ослушался его и уже на следующий день прокрался в заветную подсобку. Но пианино навсегда исчезло.

Правда, Игнат Борисович сжалился надо мной и принёс обещанный в шутку аккордеон. Новый инструмент я освоил за пару часов. И потом на всех праздниках я играл вместо Власика. Не скажу что с большим успехом – ребята здорово привыкли к нему. Но во время областных комиссий я оказывался незаменимым. Игнат Борисович выставял меня как некий качественный скачок в работе всего заведения. Только предупреждал, чтоб я играл что-нибудь простенькое, в диапазоне от «Чижика» до Пахмутовой.

А жизнь в интернате постепенно ухудшалась. Я помню, в восемьдесят пятом генеральным секретарем стал Горбачёв. Наши тогда шутили: «Папка твой, скоро заберёт тебя...» Но не забрал.

6

В том же году я узнал, что созрел. Когда меня купали, я возбуждался. Обсуждая моё внезапно отёкшее громоздкое «хозяйство», бабы вздыхали: «И зачем дурачку столько», – и кому-нибудь в шутку или всерьёз предлагалось повалиться со мной. Говорили, что с горбатым, как на пресс-папье, кататься можно.

У меня появилась любовь, девочка Настенька, слабоумный стебелёк. Её привезли к нам в возрасте десяти лет. Родители долго не хотели расставаться с ней, она была такая красивая, но как мёртвая. Она не умела жить, лежала безмолвно, не плакала, не просила пищи. С закрытыми глазами она проводила годы и в свете не нуждалась. Однажды увидев её, я стал часто приходить к ней в палату. Садился рядом и смотрел, разговаривал. Я сказал, что хочу помогать няньке ухаживать за Настенькой. Мне разрешили кормить и менять мокрые простыни. Я укладывал гребнем её волосы, обтирал кожу влажной марлей. И так много лет. Я наблюдал рост тела, взросление лица, оно становилось всё более прекрасным и осмысленным. Спящая мудрость чудилась в Настеньке. Красота порождала этот обман. Настенькина надувная прелесть и пустота внутри меня не беспокоили. Было прекрасное, без единой патологии тело, которое могло протянуть при соответствующем уходе ещё полвека.

Я спрашивал Бахатова, есть ли смысл во встречах с Настенькой. Бахатов, по натуре монах, отвечал туманно, иносказательно и с неохотой. Он недоумевал, как может человек, посвятивший жизнь отвинчиванию шаров, тратить время на что-нибудь ещё. Действительно, из-за Настеньки я многое забросил. Её внутренний покой учил терпеливости и смирению. Я полюбил трогать Настеньку губами, их чуткость превосходила чуткость пальцев. Губы чувствовали глубже, и к новым ощущениям добавлялся вкус. Я питался Настенькой, принимал её внутрь как лекарство. Она выделяла сладкую чистоту, которую я слизывал, чтобы выжить и не сойти с ума.

Мою влюблённость сделали предметом насмешки. Старый персонал сменился новым, молодым и беспринципным, без святого. Нам даже устроили игрушечную свадьбу. Ведь докторам тоже скучно, а так все выпили, потанцевали, кричали: «Горько!» Бахатов был моим свидетелем, Настеньке нашли полоумную подружку. Всех наших, кто умел сидеть, усадили за праздничный стол. Они верили, что на свадьбе, и радовались, и я почти верил. Злой фарс закончился тем, что нас всё равно развели по палатам подвыпившие санитары.

А однажды я не узнал Настеньку. Изменился её вкус, стал горьковатым и пряным, не скажу – неприятным, но другим. Изменилось лицо, в нём появилась тайна, во рту подобие улыбки и порока. Тело словно наполнилось чем-то земным, из него ушла одухотворённость, исчезла, пусть призрачная, но мудрость. Как подменили Настеньку. Я недоумевал, я извёлся – что случилось? Мне подумалось, что перемены с Настенькой происходят в моё отсутствие – днём я не отходил от неё. Следующей ночью я не ложился спать.

Когда снотворными усилиями всё вокруг стихло, я потихоньку встал, выглянул в коридор, там тоже было тихо, и осторожно пробрался в Настенькину палату. Кроме Настеньки, в палате жил Петька-дистрофик. Его временно подселили к Настеньке, там поумирали все девочки и было много места. Я нырнул под одеяло к Петьке и притаился в своей засаде. Вскоре послышались осторожные шаги и приглушённые голоса. В палату зашли два санитаря: Вовчик и Амир, из новых. Перешёптываясь, они подошли к Настеньке. Вовчик стащил с Настеньки одеяло, а потом они раздели её. Мне даже показалось, что она, обычно такая неподвижная, помогала им.

Вовчик интимно сказал:

– Если что, говорим: «Обоссалась и меняли пижаму».

– А может, ну его? – опасливо спросил Амир.

– Дурак, – выругался Вовчик, – такие таски, я отвечаю. На сиськи посмотри!

Он помял руками груди Настеньки и засопел:

– Кайф... Потрогай!

Амир настороженно потрогал Настеньку:

– Офигенно, а теперь что?

– Стань на шухор, потом я постою, – сказал Вовчик, расстёгивая штаны.

То, что под штанами казалось завязанным в узел, распрямилось и покачивалось. Вовчик раскинул бессильные Настенькины ноги и улёгся на неё. Он рукой пристроил своё напряжение между ног Настеньки и начал взад-вперёд раскачиваться.

Он мычал, как Власик, наконец, весь затрясся, взвыл:

– У-ух, бля! – и слез с Настеньки.

– Теперь ты, – сказал Вовчик, – меняемся.

Вовчик стал возле дверей, а Амир лёг дёргаться на Настеньку. Через минуту он тоже взвыл.

– А ты ещё бздел, дурак, – усмехнулся Вовчик.

Они проворно одели Настеньку, прикрыли одеялом и вышли.

Я выбрался из своего убежища. Осмысление произошедшего подступило, но не реализовалось. Главным образом, из-за тяжёлого возбуждения в нижней части меня. Не осознавая причины, я подошёл к Настеньке, раскрыл её и раздел, затем, подражая санитарам, улёгся на неё своим возбуждением. Оно долго не находило места – и вдруг точно провалилось в мокрый огонь, и я понял, что Настенька ощутила это сладкое жжение. Я вызывал его раз за разом, не в силах остановиться, пока, завывая, не выплеснулся.

Я лежал на ней как опрокинутая арфа. Невидимыми руками Настенька оборвала все струны, умолк внутренний музыкант, и я заплакал от жадности к Настенькиному телу, от пустоты в горбу и в голове, от опустошённости души. Я закутал использованную Настеньку в одеяло и поплёлся в палату.

Бахатов не спал. Я сказал ему: «Она высосала мою силу, впустила санитаров. Во мне не осталось звуков, я потерял о них память, а санитары вошли и остались, и едят меня изнутри!»

Бахатов показал полуторанедельные, слабые ногти. Только через две с половиной недели он изгнал из меня санитаров и вернул звуки. До этого по ночам мне виделись белые черви.

Однажды Настеньку ни с того ни с сего вырвало, потом снова. И, чем ни покормят, – результат тот же. Её увезли и долго обследовали. Я ходил неприкаянный, и ещё Бахатов чёрт-те что пророчил. Иногда я поглядывал в глаза то Вовчику, то Амиру, пытаюсь прочесть, что с Настенькой. Они избегали моего взгляда, отворачивались – тоже нервничали.

Экспертиза показала беременность. За мной пришли, сначала укололи, после больно подвязали – особенно старались Вовчик и Амир – и повели на дознание к Игнату Борисовичу. Беременность бросала тень на весь интернат, и ему стоило больших усилий, чтоб дело не вышло на область. Он созвал врачебный совет.

Мне не было нужды прикидываться дурачком – меня таким считали. Я замел следы, отвечая глупо и бесхитростно. Из меня тщательно выуживались сведения, не мастурбирую ли я, няньки и сёстры подтвердили, что нет. И тому подобная чепуха. В итоге, вину свалили на Петьку-дистрофика, к счастью, умершего за два дня до импровизированного суда. Меня простили и развязали. Вовчик и Амир поначалу упирали на меня – дескать, он, сука горбатая, виноват, – себя выгораживали, а когда всё свалили на Петьку, успокоились.

А Настенька умерла спустя несколько дней, после спешного и неуклюжего аборта. Я тогда пошёл в палату и на подъеме болезненных эмоций отвернул литые чугунные шарик, что укра-

шали спинку моей кровати около десятка лет. Я поначалу не поверил, что такое возможно. Но похожие кровати с узорными спинками стояли ещё в нескольких палатах, только вместо шариков их украшали шишки. Я отломал все шишки.

И я овдовел, понарошку, конечно. Настенькин труп достался родителям, её увезли хоронить на человеческое кладбище. Им не открыли подлинной причины смерти, сказали: «Внутреннее кровотечение». Сразу после смерти Настеньки я нашёл в корзине для грязного белья кровавую простыню. Недолго думая, я решил, что это Настенькина. Я взял её и похоронил вместо Настеньки на нашем кладбище – просто очень хотелось приходить к ней на могилу. Через пару месяцев горе моё утихло и перестало быть горем. Иногда лишь пощипывало сердце.

7

Как-то ночью мне вздумалось поиграть на аккордеоне. Бахатову тоже не спалось, и он увязался за мной. Начальство недавно отвело мне глухую каморку во флигеле, где я мог репетировать, никому не мешая. Бахатов прилег досыпать на тряпках, а я сел играть.

Послышались шаги и голос Вовчика: «Глостер – хуй в компостер, кончай полуночищать!»

Я отложил аккордеон и повернулся к Вовчику. Что-то в моём лице насторожило его, и он уточнил:

– Или в рыло хочешь?

Я машинально промотал головой отрицательный ответ. Проснулся Бахатов. Всегда лояльный и послушный, он так вольнодумно посматривал, точно ждал от меня чего-то. Я спросил его обо всём сразу:

– Что?

– Шары, – улыбаясь, сказал Бахатов. Он смотрел на Вовчика, точно видел его впервые. В этот момент Вовчик ударил меня. Я будто выронил зрение из глаз и присел, шаря по полу слепыми руками.

«Вставай, блядь ебанутая, – донёсся голос Вовчика, – и в палату, оба!»

Полутёмная каморка вдруг озарилась. Мне показалось, что кто-то включил карманный фонарик – может, дежурный врач. Я поднял голову и замер, очарованный. Сиял Вовчик. Сверкающая структура света растворила его тело и одежду. Вовчик увиделся мне состоящим из множества цветковых гранул, прекрасный, как глаз насекомого.

– Шары, – тихо повторил световидящий Бахатов.

Вовчик возвышался надо мной, весь в шариках-блестках. Мои руки жадно потянулись к Вовчику и стали привычно отвинчивать от него шарик за шариком. Он закричал, но крика не было, только пронзительный луч света вспыхнул из его рта, как прожектор. Вспыхнул несколько раз и иссяк. Вовчик померк. Один за другим перегорели светящиеся шарики, потом полопались, как лимонадные пузырьки. На полу лежали бездыханная туша и похожие на майские флажки кровавые лоскутки кожи.

Видимо, мы всё-таки на шумели. В каморку зашёл Амир. И сразу попытался сбежать. Я воткнул ему в спину растопыренные пальцы и достал ими до позвоночника. Амир рухнул, но продолжал ползти к двери и даже вцепился пальцами в порожек. Подчиняясь звериному инстинкту погони, я поймал его за ногу и резко рванул, до хрящевого хруста. Амир, как ящерица, отбросил ногу. Я подтянул Амира к себе.

Вдруг силы оставили его, он перевернулся на спину и надорванно сказал:

– Тебе пиздец, Глостер, понял? – Он заправил оторванную ногу в штанину и уже целиком отполз к стене.

– Позови врача, сука, – сказал он Бахатову. – Чего ждёшь?! – Пот на его лице смешался со слезами. Амир посмотрел на меня каким-то подсыхающим взглядом и прошептал с детской обидой: – Пиздец... – Боль вытекла из его лица, оно успокоилось и застыло.

Мы оттащили трупы в дальний угол и забросали тряпками. Я отдавал себе отчёт, что совершил злой поступок. Но пресловутая совесть меня не мучила, как раньше не мучила ревность. Я убил санитаров не из чувства мести, а, скорее, от удивления. Это было просто открытие возможности.

Я предложил Бахатову разобрать ребят на мелкие части и закопать за интернатом. Бахатов сказал, что, во-первых, ему безразлично, как расфасованы тела, и, во-вторых, ничего закапывать не придётся. В течение нескольких дней он обещал всё убрать без моей помощи.

Я старался не думать о случившемся. Через два дня Бахатов обгрыз ногти, и тела исчезли. Я ходил проверять – и не нашёл даже пятнышка крови. Трупы точно испарились. Не склонный к мистике, я решил, что скрытный Бахатов спрятал трупы в какие-нибудь земляные тайники, вырытые им задолго до расправы. Возможно, он утопил их в старых выгребных ямах, только для вида присыпанных известковым порошком, бездонных и страшных. Я спросил Бахатова, куда он дел санитаров. Бахатов ушёл от ответа, потом сказал такое, от чего меня опоясал озноб: «Одного отдал колодцу, другого собака съела».

По всей вероятности, Бахатов хотел отпугнуть меня от правды, а я больше и не стремился её узнать. Ребят, кстати, почти не искали, во всяком случае, в пределах интерната. Считалось, что они самовольно ушли в посёлок на дискотеку и не вернулись. Поиски в ближайшей реке ничего не дали. Объявили розыск и забыли.

8

Весной нам исполнялось по восемнадцать лет. Без экзаменов мне и Бахатову вручили бумагу об окончании восьми классов средней школы с поправкой на интеллект и стали готовить к пересылке в город на учёбу в профтехучилище. Комиссия, осмотревшая нас, признала, что мы умственно сохранны, социально не опасны и должны находиться среди людей. Это решение диктовалось несколькими причинами: за последний год многие наши перемёрли, а новых не взяли. Их всё равно не прокормили бы – интернат обнищал. Тяжёлых хроников перевезли в другое место, а наше здание отдали иному ведомству.

Игнат Борисович привёз робкого фотографа. Тот старался держаться от нас подальше, щёлкнул на облезлом синем фоне и уехал. Через неделю мы увидели снимки – не очень удачные. Бахатов вообще не получился, я выглядел каким-то застигнутым врасплох. Даже Игнат Борисович хотел, чтобы нас пересняли, говорил, что такие фотографии в паспортном отделе не примут, но приняли.

Как и двенадцать лет назад, нас снарядили в дорогу, только шапочку на горб я повязал сам. Кастелянша выдала коричневую одежду. Игнат Борисович налил по «пять капель», произнёс напыщенный тост, в котором называл меня и Бахатова оперившимися птенцами, и выразил надежду, что мы с достоинством поведём корабль разума сквозь рифы слабоумия к гавани материального благополучия. Даже в момент расставания он паясничал. Изредка Игнат Борисович оглядывался на вышедший проститься с нами персонал и вскрикивал: «Видит бог, я не хотел этого!» И возникал вопрос, чего же он не хотел: нести околесицу или отпускать дурачков в город на верную погибель.

За нами не прислали машины, и мы пошли пешком на электричку. Игнат Борисович по телефону просил, чтобы нас встретили в городе, но никто не пришёл. Мы были послушными детьми и до вечера простояли на перроне в ожидании кого-нибудь, а затем отправились в общежитие, о котором говорил Игнат Борисович. Я показывал прохожим бумажку с адресом. Они, даже не вчитываясь, проходили мимо или раздражённо отмахивались.

Нет, не такой приём ожидался. Ведь мы считали себя городскими. Когда стемнело, я оглядел Бахатова при ночном электрическом свете и что-то понял. Я упрямился и постою на одном месте, сам начал спрашивать у людей совета, но тоже не имел успеха. Едва завидев меня, они сворачивали с пути и обходили стороной.

Мы поужинали нашими запасами и продолжили поиски. Я остановился около киоска, где вместо газет продавались продукты, приблизил лицо к окошечку и посмотрел внутрь.

Приятная девушка, сидевшая в киоске, сразу отложила журнал и спросила:

– Что вам?

Я растерялся и невпопад ответил:

– Ничего.

Девушка втянула улыбку и недовольно сказала:

– Не задрочивай! Или покупай, или проваливай...

Я очень не хотел выглядеть дураком. У нас были деньги, причём большие. По сто рублей на каждого. Нам чётко расписали бюджет на листочке, и, следуя ему, выданных денег хватало на два месяца еды. А за это время мы получили бы пенсию – третьей группы с нас не снимали – и стипендию. Я порылся в кармане, достал листочек, на котором написали, что нам кушать, и засунул в окошечко, уверенный, что девушка прочтёт и снова улыбнется.

– У меня не гастроном, – прошипела она.

– А что? – спросил я с искренней болью.

– Ты больной или обкуранный?! – девушка резко закрыла окошечко.

Я хотел ей всё объяснить и зашёл в киоск с обратной стороны. Я открыл дверь, но с порога начал заикаться от жуткого волнения. Девушка увидела меня и взвизгнула. Ничего не понимая, я выскочил наружу, девушка следом. Она кричала:

– Серёжа! Серёжа!

На её крик первым откликнулся Бахатов, появившись из темноты, как призрак, а уже вторым пришёл званый Серёжа – плотный мужчина в чёрной кожаной куртке. Я с надеждой глянул на него и приготовил бумажку с адресом.

– Эти, эти! – девушка кинулась к Серёже, указывая на нас пальцем. Я улыбался недоразумению и подбирал первые слова. Серёжа решительно схватил девушку и спрятал за спину. Доморощенный рыцарь Бахатов воспринял это движение как агрессию в её адрес. Он продолжал думать, что девушка звала его, поэтому чуть взмахнул рукой и притопнул, отгоняя Серёжу.

Тут произошло неожиданное. В руках у Серёжи появился предмет, похожий на резиновый шланг, которым он ударил Бахатова прямо по голове. И добрый, мухи не обидевший Бахатов упал на землю. Моё удивление быстро сменилось гневом. Я перехватил шланг и разорвал пополам. Только это был не полый шланг, а палка из тяжёлой литой резины. Оба обрывка я швырнул в лицо злому Серёже.

Девушка вдруг развернулась и побежала. Чуть помешкав, за ней припустил её защитник. Я осмотрел запыхавшегося Бахатова, к счастью, не очень пострадавшего. Он отделался вспухшей гулькой на лбу. Я отряхнул его, и мы побрели дальше.

Через некоторое время я вспомнил, что в киоске остался листочек с инструкцией по питанию. Мы повернули обратно, но уже не нашли того киоска. Мы переночевали в парке на летней эстраде, а утром пошли знакомиться с городом.

9

Опыт обращения с деньгами у нас имелся. Я не раз покупал Игнату Борисовичу в посёлке сигареты и пиво, и Бахатов, само собой разумеется, тоже состоял на посылках. Проблема была в том, что нам выдавалась сумма без сдачи, к примеру, горстка мелочи, я подходил к прилавку и говорил: «Дайте, пожалуйста, пачку «Лиры». И, в придачу к сигаретам, мне всегда протяги-

вали несколько карамелек. То есть представление о цене как сложном экономическом явлении у нас было фиктивное, расплывчатое, и поэтому распоряжаться деньгами мы не умели.

Навык соотнесения цифры на ценнике с количеством денег в кармане устоялся аж к вечеру. До этого и в хлебном, и в молочном я протягивал кассирше сразу все наши деньги, чтобы не выглядеть ребёнком, платящим копейками или конфетными фантиками. Так не могло долго продолжаться, и мы придумали рискованный, но эффективный способ, опробованный в кондитерских. Бахатов, точно прилетевший с Луны, делал заказ и давал продавщице пару монет. Если продавщица смотрела как убийца, я подоспевал с бумажными деньгами и, отслеживая её реакцию, выкладывал на прилавок по купюре, пока нам не продавали товар. А после мы считали сдачу и думали. За день мы здорово истратились, но зато многому научились. Я уже точно знал, сколько стоит стаканчик мороженого, бутылка сладкой воды или пирожок с картошкой.

Обилие транспорта, виденного только на картинках или по телевизору, совершенно очаровало нас. Мы несколько часов просто катались на трамвае. Я сидел и на красном кресле, и на сером, то поближе к окну, то подальше от него, и на двойном, и на одинарном сиденьях. Мы бы и больше катались, но на нас слишком обращали внимание.

На перекрёстках мы едва не сворачивали шеи, провожая взглядами машины иностранных марок. Каждую такую машину Бахатов называл «мерседес-бенц» – единственное название зарубежной марки автомобиля, которое он знал. Удивительно, как мы не попали под колёса – правила дорожного движения ассоциировались у меня с иллюстрацией в детской книжке: очеловечившийся светофор в форме регулировщика переводит через дорогу отряд малышей и подмигивает зелёным глазом.

Ночевали мы на новом месте, в уютном подвале старого дома. Город был настолько удивителен, что сам, без предупреждения, карал и миловал. В сухих углах подвала лежали старые матрасы, на гвоздях висела ветхая одежда. Мы нашли даже посуду и остатки еды.

Ночью нас разбудили пришельцы, несколько человек. Когда они зажгли свечу, я увидел, что хозяйева подвала – немолодые или преждевременно состарившиеся люди. Среди них находилась женщина, но она мало чем отличалась от своих кавалеров.

Они действительно были все на одно лицо. Так похожи между собой бывали только дауны. Странные люди не разозлились и не обрадовались нашему появлению. Мне показалось, что они не до конца поверили в наше присутствие. Их сознание находилось где-то далеко и оттуда изредка руководило телом; в поведении и в полусонном отношении к жизни чувствовалась немыслимая умственная заурядность. Рано утром они поднялись и ушли, тихо переговариваясь на своём курлыкающем голубином языке. Вечером их число уменьшилось на одного, и голоса зазвучали печальнее.

Мне хотелось насыпать им хлебные крошки, как птицам. Бахатов отнёс страдальцам полкулька пряников. Пряники они взяли, а его не заметили, точно глаза их потеряли оптическую способность различать человека. Да и в самих обликах существ жила глубокая ископаемость и древность.

10

В тот же вечер в наш подвал заглянул кто-то главный. Он ещё с улицы крикнул: «А ну пошли отсюда, козлы вонючие!»

Пинками он поднял прилётшее стадо человекозавров, и они безропотно встали. Я был уверен, что в головах ископаемых не было и тени мысли, что гнал их из подвального оазиса человек. Кричащий и дерущийся, он определялся, наверное, как метеорологическое бедствие.

Он уставился на меня и Бахатова и сказал с весёлой ноткой:

– А вы, два котяха, чего расселись? Особое приглашение нужно?

Я тоже улыбнулся, голосом успокоил Бахатова, сунувшегося было с пряником к незнакомцу. Он казался самым обыкновенным, с плутоватым лицом, как у сказочного солдата. Меня он сразу окрестил Карпом, Бахатова – Рылом, а себя назвал дядей Лёшей.

Я начал рассказывать ему о наших злоключениях, стараясь преподать всё в ироническом ключе. Мужик слушал и посмеивался. Я дошёл до момента, когда выхватывал у парня, лупившего Бахатова, резиновую палку, и для наглядности взял с пола какую-то трубу, но, естественно, не порвал, а согнул её.

Дядя Лёша даже привстал, повертел согнутую железяку и поощрительно сказал:

– Молодцы, ребята, киоск бомбанули.

Узнав, что мы ничем не воспользовались, дядя Лёша просто руками развёл. Я ещё сказал, что в киоске осталась наша инструкция по питанию. Дядя Лёша прямо из себя вышел.

– Да что же это такое в мире творится! – он возбуждённо мерил подвал большими шагами. – Сирот грабят! – Потом жалостливо спросил: – Как вы теперь жить будете, если не знаете, что кушать?

Это прозвучало так тревожно... Мы даже забыли, что не умерли от голода, а нормально питались.

– Что делать, что делать? – задумывался вслух дядя Лёша. – А может, найти этот киоск проклятый да потребовать от них: возвращайте, мол, наше, сиротское... – Дядя Лёша лукаво и бодро посмотрел на нас. – Замётано, ребята, идём искать киоск!

На всякий случай дядя Лёша принёс короткий ломик, пояснив: «Вдруг в киоске никого не будет, а мы что же, даром припёрлись».

Действительно, куда бы мы ни приходили, везде никого не было. Я не помнил точного местонахождения киоска, и дядя Лёша предложил искать наугад, причём настаивал, что лучше искать ночью. Он придерживался одной неизменной схемы: устанавливал Бахатова неподалёку от киоска со словами: «Если кого увидишь, со всех ног к нам».

Я должен был открывать дверь, а бумажку искал дядя Лёша. Меня смущал только один момент, что дверь приходилось взламывать.

– Давай, Карп, давай, – шёпотом увещевал дядя Лёша, – они, куркули, себе новую делают...

Я брался за висячий замок и выворачивал его, пока не лопались петли.

– Руки у тебя, Карп, золотые, дал же бог, – бормотал дядя Лёша и проскальзывал в киоск. Там он возился минут десять, вываливался нагруженный, мы относили добычу в наш подвал. За ночь мы обошли пять киосков, но бумажки не нашли. Дядя Лёша дал нам денег и еды, пообещав следующей ночью зайти за нами, чтобы возобновить поиски.

Целый день мы гуляли, объедаясь мороженым, катались в парке на каруселях, опробовали все игровые автоматы. За вознаграждение город становился добрым, весёлым и гостеприимным. А вечером пришёл дядя Лёша, и мы отправились в ночной рейд.

Дядя Лёша был в прекрасном настроении, он переименовал Бахатова из Рыла в Бахатыча и вообще вёл себя как настоящий родственник. Признаться, дядя Лёша несколько озадачил меня тем, что вместо киоска он указал на магазин. В нём-то мы точно не забывали нашей бумажки. Дядя Лёша без труда переубедил меня, что её могли спрятать в этом магазине.

Мы подкрались с чёрного хода. Дядя Лёша сказал, что там нет сигнализации. Я очень мягко открыл ломиком дверь, она вывалилась из трухлявой стены, и замки остались целыми. Бахатов остался на входе, а я и дядя Лёша зашли внутрь.

Дядя Лёша первым делом кинулся к агрегату, похожему одновременно на печатную и счётную машинку, выломал ножом у него дно, выбрал содержимое, и мы пробрались по коридорчику к какой-то двери.

– Давай, родимый, – сказал он.

Дверь выглядела хлипкой, я просто толкнул её плечом. Комната, куда мы попали, напомнила мне кабинет Игната Борисовича: такой же стол и телефон, был телевизор, в углу стоял сейф, но не большой и двухэтажный, а простой.

– Сможешь? – с надеждой спросил дядя Лёша.

Я вогнал плоский конец ломика между стенкой и дверцей сейфа – она прилегала довольно плотно, но маленький зазор всё же был – хорошенько порасшатывал, потом повторил эту операцию с верхним зазором. Дверца чуть ослабла. Я минут десять возился с ней, вскрывая по периметру. Наконец, я расшатал её настолько, что смог поддеть ломиком сбоку, где замок, и открыть. В сейфе, кроме толстых папок, было несколько пачек с деньгами, их взял дядя Лёша.

– А теперь мотаем отсюда, – быстро сказал он.

На выходе дремал Бахатов. Дядя Лёша страшно разозлился, даже хотел треснуть его, но посмотрел на меня, остановил руку и усмехнулся:

– Устал, наверное, твой дружбан. Понимаю...

Остаток ночи и следующие два дня мы провели в гостях у друзей дяди Лёши. Пока мы ехали к ним на квартиру, дядя Лёша предупредил, чтоб мы больше помалкивали, а говорить будет он.

11

Машина привезла нас к частному дому. Дом окружал высокий забор из железных прутьев. Вместо калитки стояли солидные деревянные ворота с врезным окошечком и даже с кнопкой электрического звонка.

У дяди Лёши, когда он расплачивался с водителем, было щедрое лицо. Машина уехала, дядя Лёша ещё раз напомнил нам о правилах хорошего тона и позвонил. Человек, впустивший нас, вначале посмотрел в окошко, а только потом открыл дверь.

Мы прошли по асфальтовой дорожке к дому. Во дворе был накрыт стол, за ним сидели многочисленные друзья дяди Лёши. Двое поблизости жарили на костре мясо. Женщина, может, жена хозяина, вынесла блюдо с новой едой и опять ушла в дом.

Наше появление вызвало некоторое оживление у сидящих за столом. Дядя Лёша развязно представил нас: «Вот Карп, вот Храп», – так он переименовал Бахатова, и мы сели на пустые места. Дядю Лёшу друзья называли тоже по-другому. Памятуя о его просьбе, мы не задавали вопросов, а больше налегали на незнакомые бутерброды. Нам налили по полстакана водки, дядя Лёша незаметно кивнул, чтоб мы выпили. Водка, как ножницами, отрезала меня от общего разговора, я расслабился и отделался от мыслей. У Бахатова с лица сошло напряжение, но выглядел он каким-то зловещим.

Дядя Лёша, тем временем, смеялся и хвастал. Что-то он рассказывал и про меня, поглядывая в мою сторону и подмигивал. Тогда все друзья дяди Лёши тоже смотрели в мою сторону, посмеивались и недоверчиво качали головами. Кто-то протянул мне металлическую монету и сказал: «Согни!»

Я взял монету, а Бахатов неожиданно запел: «Советский цирк, он самый лучший в мире цирк», – выбивая на столе маршевую дробь. Это было очень на него не похоже.

Я сложил монету пополам и, поскольку от меня не отводили глаз, поднапрягся и сложил вчетверо.

– А ты, Карп, не карась, – весело сказал друг дяди Лёши, и нам опять налили водки. Я захмелел, но всё-таки успел заметить, что люди за столом сменились. Появились несколько женщин, молодевших с каждой минутой.

Потом начался какой-то бред, я зажмурился, но продолжал видеть. Окружающее окрашивалось только в синий фон. Вскоре синева сошла, и я забыл и запутался, какой мир зажмуренный, а какой настоящий. Если бы я чувствовал веки, то разобрался бы, где что. Но я не

ощущал их, а просто смотрел изнутри наружу. Иногда я натыкался взглядом на Бахатова, на дядю Лёшу, и по лицам их пробегала водяная рябь, пока они не растворились и воздух замер, чуть покачиваясь.

Оставшаяся картина представилась мне управляемым сном. Для пробы я запустил в него Игната Борисовича, только тихого и совсем пьяненького. Потом я позволил появиться убиенным Вовчику и Амиру. Они уселись, скромные и стеснительные, даже не взяли себе поесть и выпить.

Женщину напротив я преобразовал в Настеньку. Она всё смеялась и вдруг побежала, я за ней. Она скрылась в доме, я вбежал туда и увидел её на винтовой лестнице. Не попадая ногами на ступеньки, я продолжал шуточную погоню.

Моя случайная Настенька увлекла меня в какую-то каморку на верхнем чердачном этаже и, измождённая, рухнула на скособоченный диван. Я упал на неё сверху. Она начала отпихивать меня и заговорила хрипловатым, грубым голосом:

– Отстань, дурак, я пошутила!

Я задрал ей платье, она шикнула:

– Я мужиков позову!

Меня рассмешила эта угроза, я уточнил:

– Муравьёв позову?

Настенька сразу притихла. Из-под дивана показались Вовчик и Амир, я только глянул на них, они съёжились от страха и попрыгали.

– Ну же! – торопила ставшая смирной Настенька. – Кто-нибудь придёт...

Я освободил от штанов мою жилистую страсть, и наступило беспмятство.

Проснулся я потому, что кто-то тряс меня за плечо. Это была полная немолодая женщина, и она говорила с лёгким испугом:

– У кореша твоего, кажись, «белка» началась, пойдёшь посмотри!

Мы спустились во двор. Я сразу понял, что взволновало её. Бахатов в профиль действительно напоминал белку. Он стоял лицом к заходящему солнцу и читал нараспев, подсматривая в обрывок газеты, об экономических достижениях новых фермерских хозяйств Черкасской области. Бахатов закончил читать и начал обкусывать ногти, отчего сходство с белкой ещё более усилилось.

Чтоб не мешать Бахатову, я увёл женщину в дом. Там я поинтересовался, где дядя Лёша и остальные. Она сказала, что все разошлись ещё с прошлого вечера, а я проспал почти сутки.

Показался чуть измученный Бахатов и сказал, что нужно уходить. Я уловил в его голосе двусмысленность – ногти что-то подсказали ему, и он торопился. Мы простились с хозяйкой и куда-то заспешили.

12

Бахатов уверенно вёл меня по одноэтажным улицам, пока дома не выросли до размеров городских. На шумном транспортном перекрёстке Бахатов остановился, как будто пришёл. Мимо проехал троллейбус, за ним милицейская машина, которая и тормознула возле нас.

Милицейский спросил, кто мы и что здесь делаем. Я, наверное, в тысячный раз, достал бумажку с адресом общежития. К нам отнеслись сочувственно и пригласили сесть в машину. Мы ехали, Бахатов глазел по сторонам, а я рассказывал, как мы заблудились и никто нам не хотел помочь, что ночевали в подвале. О дяде Лёше я благоразумно не упоминал. Тогда пришлось бы признаться, что мы, разини, потеряли пищевую инструкцию. И про вечеринку у друзей дяди Лёши тоже не хотелось говорить, впутывать, пусть мёртвую и призрачную, Настеньку.

Нас привезли в отделение, разместили в пустом изоляторе, принесли поесть. Через некоторое время за нами пришёл охранник и отвёл в кабинет к начальнику. Там уже находился

взволнованный и такой родной Игнат Борисович. При нашем появлении он даже подскочил на стуле – и вздохнул прямо сердцем.

– Ваши? – спросил из кресла начальник.

– Мои, – ответил Игнат Борисович.

Начальник сделал знак, чтобы мы вышли. Из коридора было слышно, как он отчитывает Игната Борисовича, а тот деликатно оправдывается. Минут двадцать они искали виноватых. Игнат Борисович звонил в психоневрологический диспансер и выяснял, почему нас не встретили. Там понервничали и быстро нашли козла отпущения. Кому-то пообещали строгий выговор, кого-то лишили копеечной премии, и на этом дело закончилось. А нас доставили в психиатрическую больницу для проживания и очередного переучёта мозгов. Полагалось, что мы не оправдали доверия, оскандалились, хвалёные умники.

Потянулись долгие дни врачебного освидетельствования. В этот раз за нас взялись основательно – тестировали по полной программе. Впрочем, процедура была знакома нам с детства. Многие задания мы давно выучили наизусть. На каждый вопрос я имел по несколько ответов, от явно безумных до парадоксальных по глубине мысли. Я мог манипулировать вариантами и, в зависимости от преследуемой цели, прикинуться или, наоборот, произвести хорошее впечатление.

Поначалу мне задавали вопросы типа – кто я: мальчик или девочка, у кого больше ног: у собаки или петуха, когда я завтракаю: вечером или утром, какое сейчас время года и другие глупости. Дальше вопросы пошли интересней: что такое кибернетика, из чего делают бумагу, сколько существует континентов, кто написал музыку к балету «Лебединое озеро», чем объясняется смена дня и ночи. Нам показывали картинки и силуэты, а мы отвечали, что на них нарисовано. Некоторые картинки были с ловушками: водолаз, поливающий под водой морские цветы, женщина, говорящая по телефону без шнура. Мы указывали на нелепости в картинках.

Потом, по просьбе врачей, я считал от единицы до двадцати, пропуская каждую третью цифру, называл месяцы в обратном порядке. Очень мне понравилось задание, в котором нам давалось начало предложения: «Уверен, большинство мужчин и женщин...», «Больше всего люблю тех людей, которые...», «Самое худшее, что мне пришлось совершить, это...», – а мы заканчивали.

Поэтичный Бахатов отвечал удивительно. Чего стоил его пересказ истории о человеке, у которого курица несла золотые яйца. Человек решил, что в курице полно золота и зарезал её, а там было пусто – такие нам рассказы читали.

Бахатов переиначил историю на свой лад: «Один хозяин – птицевод с собственническими тенденциями – невзирая на факт, что курица несёт золотые яйца, – а золото имеет большое значение на мировом рынке и является большим подспорьем в сельскохозяйственной индустрии – зарезал её, что противоречит морали, гласящей: не поступай как варвар в поисках того, чего нет».

Из новенького было рисование пиктограмм. Нам предлагалось сделать условный знак «безутешной скорби», «сытного ужина». Первое словосочетание я изобразил в виде могильного креста и циферблата часов. Для второго словосочетания я тоже взял циферблат, но в виде надкушенной тарелки, а в ней ложка и вилка. В обеих пиктограммах часы символизировали непрерывность и длительность.

Вскоре до нас дошли слухи, что врачи склоняются к мысли вообще снять меня и Бахатова с инвалидности. «В городе они потерялись! Большое дело! Да я сам из деревни! – кричал председатель комиссии, профессор. – Я, когда впервые в город попал, думал, что по телефону можно звонить, номера не набирая – трубку поднял, и всё. А теперь ничего, освоился!»

Вечером мы с Бахатовым держали совет. Нам совсем не хотелось полностью лишиться финансовой поддержки. Инвалидная пенсия, хоть и маленькая, могла кое-как прокормить, но, с другой стороны, перекрывала путь во многие сферы общества. После долгих раздумий мы

нашли золотую середину. Бахатов решил остаться на инвалидности, для подстраховки. Я отважился идти в большую жизнь.

Все точки над «і» мы расставили следующим утром, на задании по исследованию ассоциаций. Я старался пользоваться так называемыми высшими речевыми реакциями. Мне говорили: «Стол», – я отвечал: «Деревянный». «Река?» – «Глубокая». Или отвечал абстрактно: «Брат – родственник, кастрюля – посуда».

Бахатов поступал по-другому. Ему говорили: «Карандаш». Бахатов, шурясь, спрашивал: «Где?» Ему говорили: «Мама», – он рифмовал: «Рама». А потом сделал вид, что устал, и на все вопросы урчал: «Мурка, мурка», – и пожимал плечами. Поскольку раньше он вёл себя вполне адекватно, такое поведение было расценено как психопатическое.

Только на силлогизмах Бахатов укрепил комиссию во мнении, что таки страдает лёгкой олигофренией. К примеру, давалась следующая посылка: «Ни один марксист не является идеалистом. Некоторые выдающиеся философы не являлись марксистами, следовательно...» Я отвечал: «Некоторые выдающиеся философы были идеалистами».

Бахатову говорили: «Все металлы – проводники электричества. Медь – металл, следовательно?» И вместо очевидного: «Медь – проводник электричества», – Бахатов выдавал: «Надо расширять добычу металлов, меди, чтоб промышленность развивалась».

Своего мы добились. Меня, в статусе абсолютно нормального, приписали к ПТУ при строительном комбинате. Бахатову сохранили инвалидность и записали на тот же первый курс, что и меня. Нас не хотели разлучать.

13

Предполагалось, что летом мы будем постигать сантехническую премудрость в местном жэке на должности подмастерьев, а осенью приступим к учёбе. Комната, которую нам выделило общежитие, была просто замечательная. Там даже стоял телевизор.

С утра мы подходили в жэк к мастеру Фёдору Ивановичу. В первую встречу он принял нас по-стариковски сварливо, но скоро выяснилось, что это сердечный человек, хоть и горький выпивоха. Мы сработались. Старик не докучал нас теорией и не злоупотреблял практикой. Иногда он брал нас на вызовы, и если за труд ему давали зелёный тройак или синюю пятёрку, всегда делился.

Наука, что он преподавал, казалась нехитрой. Я быстро овладел сборкой-разборкой кранов отечественных конструкций. Бахатов предпочитал финские и чешские системы. Но это была верхушка профессии. Суть дела, не сразу понятная, заключалась в том, чтобы починять, ломая. Именно эту концепцию ремонта терпеливо, но твёрдо вдальбивал наш учитель.

Подлинное мастерство состояло не в халтуре: старая прокладка вместо старой или подтекающий стояк на место исправного. Фёдор Иванович учил нас презирать такой труд. Сам он работал виртуозно и от нас требовал фантазии и полёта. Я хорошо запомнил характерный пример.

Фёдора Ивановича вызвали осмотреть газовую колонку – у хозяев не нагревалась вода. Старик внимательно оглядел аппарат, разобрал, постоял, крепко задумавшись. Потом вздохнул и сказал, что имелся-де у него финский металлизированный гибкий шланг – «для себя покупал». Хозяева дают ему червонец. И вот мы втроём идём за чудо-шлангом, не спеша, с достоинством, туда и обратно. Обрадованные хозяева благоговейно глядят на этот фирменный шедевр. Фёдор Иванович смотрит на часы, говорит: «У нас обед, шланг поставим завтра».

Хозяйка проворно накрывает на стол, Фёдору Ивановичу подкидывают ещё пятерку за труды, и он быстро и безупречно ставит шланг на колонку. Вода нагревается. Мы выходим на улицу, Фёдор Иванович смеётся: «Учитесь», – мы недоумеваем, а он объясняет: «Гибкий шланг от горячей воды деформируется, вроде как засоряется, мы ещё не раз придём его менять!»

В такие удачные дни старик бывал счастлив. Мы накупили гору вкусных вещей, водки, пива и устраивали настоящий пир. И тогда я верил, что мы – одна семья.

Фёдор Иванович частенько поругивал меня за бесхитрость, хоть и уважал мою способность отвинчивать без ключа сорванные гайки. «Ты, Санёк, – говорил он мне, – на таких фокусах много не заработаешь, ты глобальней мысли».

Когда через год я навестил его, он сказал мне: «На свою пианину особо не рассчитывай, мало ли что. По клавишам стучать – дело глупое. Главное, – поучал чудный старик, – чтоб в руках профессия была!»

Благодаря Фёдору Ивановичу, телевизору и газетам мы быстро ознакомились с правилами жизни в городе – они постепенно усвоились нашим сознанием. В свободное время мы гуляли и не боялись заблудиться. Стояли жаркие дни, мы ходили на реку, загорали, неумело бултыхались. Вечера проводили в кинотеатре или в видеосалоне.

14

Однажды я поехал в центр без Бахатова, искал универмаг и, случайно проходя мимо какого-то здания, услышал, что оно просто начинено музыкой, звучащей из каждого окна, – различные инструменты, духовые и смычковые. Доносились поющие голоса – красивые и не очень. На первом этаже играл рояль, через окно ещё один, их исполнение накладывалось друг на друга. Это были не связанные между собой отрывки, но они сплетались в специфический оркестр.

У меня даже зачесалась спина от возбуждения. Я, от природы ужасно стеснительный, не смог побороть искушения и зашёл. Внутри царил неразбериха. Носились молодые люди: парни и девушки, наэлектризованные и быстрые, шумели всклокоченные взрослые дядьки, басили исполненные особой важности дамы. Над всем этим пиликали сотни скрипок и виолончелей, тренькали мандолины, гнусавили далёкие и близкие баяны.

Я, как обычно, вызвал к себе интерес, но не пристальный, и мне удалось затеряться. Гул носился по коридорам, точно поднятая пыль. Я выделил из него рояль и устремился на звук, пока не вышел к хвосту людной очереди, упирающейся в большую чёрную дверь. Оттуда пробивались дивные пассажи.

Рояль смолк, дверь приоткрылась – приглашали нового исполнителя. Тот, кто играл раньше, вышел весь взмокший. Его облепили нервные молодые люди и стали засыпать завистливыми от страха вопросами. Не знаю почему, я решил остаться и принял вид причастности к этому конвейеру исполнителей. Никто из присутствующих не возражал. По мере того как подходила моя очередь, мне прояснилась суть происходящего. Я понял, что попал на вступительные экзамены.

Я смутно представлял себе, что буду делать и говорить, если меня спросят, по какому праву я ввалился. Но очень хотелось сесть за рояль. Такой возможности могло долго не повториться. Я решил, что, независимо от дальнейших событий, успею поиграть на настроенном профессиональном инструменте. Я приготовился подскочить к роялю, быстро поиграть, извиниться и уйти.

Свои музыкальные силы я оценивал трезво. Я не касался клавиш с момента нашего отъезда из интерната, то есть почти два месяца. О хорошей беглости нечего было и говорить. Вдобавок ко всему я не знал ни одного музыкального произведения в оригинале – всё подбиралось по слуху и, наверное, с некоторыми отступлениями от нотного текста подлинника. В импровизациях собственного сочинения я почему-то засомневался. Я остановил свой выбор на произведениях, которые играл до меня один парень. Мне показалось, что я запомнил их до единой нотки, а какую-то пьеску я неоднократно слышал по радио.

Наконец дверь открылась и мне разрешили войти. Я проследовал в угловатую комнатку с занавесом вместо боковой стены. Через высокий, будто юбочный разрез занавеса просматривалась сцена с роялем.

Зал был почти пуст. Стояли два сдвинутых стола, за ними сидели человек шесть комиссии. Над их головами нависал балкон, я глянул на него и похолодел – там было полно народу. Я вышел, как из плюшевого чума, и каким-то мятым от волнения голосом выговорил: «Абитуриент Глостер», – и резво проковылял к роялю.

Чтобы опередить все уместные вопросы, я начал играть. Сразу же появилось первое неудобство. Строй старенького интернатского пианино разительно отличался от строя концертного рояля. В моей памяти за определённой клавишей хранился соответствующий звук. Здесь клавиши и прячущиеся за ними звуки не совпадали. В итоге получалось не совсем то, что я намеревался представить. Я растерялся, но, не прекращая игры, съехал на импровизацию и кое-как на одном крыле дотянул до аэродрома. Меня не прервали.

На второй вещи я вполне освоился с клавиатурой. Я разогнался мелодией до такой скорости, что она не стала контролироваться спиной. Как слепой, я вскинул голову. Зрение ушло из глаз, но налачился умственный контакт с воображаемым музыкантом из горба. Он подхватил мелодию, повёл за руки, и залежи моей грустной жизни брызнули новыми звуками, потекли через пальцы на клавиши спинномозговой сонатой.

Я остановился, промокнул о штанины ладони. На балконе раздалось несколько хлопков.

Женщина, сидящая в комиссии, сказала:

– Я не нашла вашей фамилии в списках.

В сущности, этим должно было кончиться. Я встал, мой скрюченный контур, очевидно, приняли за поклон, и на балконе снова заплодировали. Я предпочел поскорее уйти, потому что и так удовлетворился.

Женщина крикнула мне вслед:

– Наверное, какая-то ошибка!

«Никакой ошибки», – полувслух, полумысленно ответил я, прибавил ходу и выскочил за дверь. К счастью, никто не выяснял у меня, как прошло выступление; провожаемый любопытными взглядами, я заспешил по коридору.

Я хорошо помнил обратную дорогу и уже почти улизнул, но на выходе меня окликнул властный мужской голос:

– Глостер, подождите!

Я оглянулся. По центральной лестнице тяжёлым галопом спускался крупный мужчина лет пятидесяти – один из тех, кто сидел за столом в зале.

Он подошёл ко мне и первым делом сердито выпалил:

– Что я, мальчик – за вами бегать?! – Глаза его под очками сверкнули колючими искрами.

В этот момент он окончательно разглядел меня и сказал на тон мягче: – Ну, чего вы испугались? Вы неплохо играли и понравились комиссии. Вам задали обычный канцелярский вопрос, это совсем не значит, что надо срывать экзамен.

Я промолчал, привычно чувствуя, как ползёт по моей круглой спине его жалостливый и удивлённый взгляд.

– Что-то случилось? – спросил мой преследователь. – Вы передумали поступать? Нет? Тогда в чём дело?

– А какие документы нужны, чтобы поступить к вам? – спросил я.

У моего собеседника не только брови, но даже щеки изобразили глубокое удивление:

– Вы не подавали документов?

– Нет, – удручённо признался я.

– Очень хорошо, – он снял на минуту очки и оглядел меня уже босыми и, наверное, поэтому беспомощными глазами. – Тогда зачем вы к нам пожаловали?

- Я только хотел поиграть на рояле, – выложил я свою аляповатую правду.
- Где вы раньше занимались?
- Нигде.
- Тогда с кем? Я имею в виду, у кого вы учились?
- Ни у кого. Я сам научился.
- Изумительно, – мужчина деловито потёр ладони. – Следующий вопрос: что вы играли?

Шопена – не Шопена, Рахманинова – не Рахманинова.

- Не знаю, – поскольку действительно не представлял, что изобразил.
- Как же вы тогда играли?
- Передо мной ребята кучу вещей исполняли. Что-то запомнил, что-то придумал.

Мы продолжили разговор на улице. Мужчина сказал, что его зовут Валентин Валерьевич.

Он размашисто разжёл сигарету, затем посмотрел на часы и отмахнулся от них:

- В двух словах – откуда вы приехали, в общем, коротко биографию.

Я рассказал про интернат, без бытовых подробностей – в основном про старенькое пианино в каморке папы Игната. Чуть-чуть о нашем переезде в город. Я не скрыл подозрений общества о моей нормальности и с тем большей гордостью заверил, что не псих. Валентин Валерьевич сразу успокоил меня, что никогда бы так не подумал.

– А почему вы не подготовили какое-нибудь произведение конкретно? – вдруг спросил он.

– Потому что ничего конкретного я не разучивал, а играю только то, что когда-нибудь слышал и запомнил.

- По слуху?
- Да, а как ещё можно...
- Без нот? – как бы уточняя нечто абсурдное, спросил Валентин Валерьевич.

Увы, я не знал нотной грамоты. Названия «до», «ре», «ми», «фа» были мне знакомы, но существовали без смыслового наполнения.

Валентин Валерьевич за секунду принял какое-то решение и сказал:

– Вот что, Глостер, приходите через два дня прямо сюда, когда закончатся экзамены, – он протянул мне картонный прямоугольник. На нём я увидел крупные позолоченные строчки «Валентин Валерьевич» и «Декан». – Здесь мой рабочий телефон, звоните, когда вздумается. Сегодня у нас что? Среда. Значит, в пятницу в десять утра я жду вас в своём кабинете. Спросите у вахтёрши, как пройти. Договорились? Уверен, мы что-нибудь для вас сообразим. Кстати, – он достал из кармана блокнот, – как вас по батюшке?

У меня и Бахатова имелись одинаковые, чисто формальные отчества: мы оба были Игнатовичи. Остроумный Игнат Борисович, следуя традиции римских патрициев, дал нам как вольноотпущенникам своё имя.

– Очень хорошо, Александр Игнатович, так и запишем, – сказал Валентин Валерьевич и впервые за нашу беседу позволил себе улыбнуться. – До встречи.

Я сказал «спасибо» четыре раза и побежал искать универмаг. Дома я поделился впечатлениями с Бахатовым. Тот покивал и погрузился на дно своих мыслей. Бахатов умел быть иногда удивительно холодным. Впрочем, он готовился к завтрашнему дню и медитировал над ногтями. Я оставил его в покое и улёгся перед телевизором тешить свою радость изнутри. Бахатов сидел прямой, как факир, и глаза его излучали змеиную мудрость.

– В пятницу всё будет хорошо, – неожиданно сказал он и улыбнулся родительской улыбкой. Тогда мне показалось ошибочным моё представление, что это я присматриваю за Бахатовым.

15

Так и случилось. Валентин Валерьевич приветливо встретил меня утром, спросил о самочувствии и как я провёл время, а сам тем временем поставил на стол магнитофон.

– Вот, послушай, – он нажал кнопку, и заиграл быстрый рояль. Произведение закончилось, Валентин Валерьевич хитро посмотрел на меня и спросил: – Сможешь повторить?

Мы прошли в кабинет, где стоял инструмент. Валентин Валерьевич снова прокрутил запись, но мне хватило бы одного прослушивания. Я сел за рояль и начал играть.

– Фантазируешь! – крикнул Валентин Валерьевич. Я исправился, хотя мой вариант мне нравился больше.

– А теперь верно!

Я доиграл, Валентин Валерьевич выглядел очень довольным.

– Ну что, поехали дальше, – сказал он.

Вторую вещь я исполнил с минимальными авторскими отступлениями, и Валентин Валерьевич похвалил меня. В общей сложности мы прослушали пять композиций.

– До понедельника отрепетируешь, – сказал Валентин Валерьевич. – Магнитофон, если хочешь, возьми с собой или оставь здесь. Ключ я тебе даю, приходи и работай.

И начались замечательные дни. Я наслаждался по десять часов кряду. К необходимому понедельнику я наловчился так, что мог играть заданные произведения наизнанку.

В понедельник меня слушали, кроме Валентина Валерьевича, внимательный человек из городского отдела народного образования и директор специализированной музыкальной школы-десятилетки, приятель Валентина Валерьевича. Я отыграл программу, меня поблагодарили и в коридор не отправили. Я почувствовал, что это добрый знак, раз моя дальнейшая судьба обсуждается в моём же присутствии.

Вначале высказался Валентин Валерьевич, потом директор школы. Они говорили обо мне только хорошие слова. Человек из отдела образования заявил, что не видит никаких препятствий тому, чтобы я учился музыке, и пообещал подписать соответствующий указ и всё уладить. Валентин Валерьевич поздравил меня, а директор сказал, что я теперь учащийся девятого класса специализированной школы-интерната для музыкально одарённых детей.

Всё сложилось без моего участия. Документы из канцелярии ПТУ переслали в канцелярию школы, мне выделили койку в общежитии. До осени ребята разъехались по домам, и я жил в комнате один. Кто-то из преподавателей школы согласился подтянуть меня за лето по теории. Сам я взял в библиотеке «Практическое руководство по музыкальной грамоте» Фридкина и, на всякий случай, вы зубрил.

Единственной моей проблемой был Бахатов. Я просил у директора позволить Бахатову жить вместе со мной в общежитии музыкальной школы, но директор сказал, что это запрещено законом.

Я не представлял, как отреагирует Бахатов на разлуку, и осторожно сообщил ему, что нам придётся впервые за долгие годы ночевать порознь и видеться только днём. Бахатов в очередной раз поразил меня своим спокойствием и даже некоторым равнодушием. Сантехнический гуру Фёдор Иванович выхлопотал для него полноценное рабочее место в жёке, и, кроме этого, его временно прописали в незанятой дворницкой. У Бахатова появилось собственное жильё с крохотным санузлом и кухонькой.

16

Жизнь налаживалась. Больше чем на сутки мы не разлучались. Я приезжал к нему в гости, он ко мне. Я рассказывал о своих музыкальных событиях, он посвящал меня в при-

открывшиеся ему тайны финских рукоомойников. Мне почему-то сразу вспоминались сказки Андерсена или хрустальный и холодный скандинавский Север, а Бахатов представлялся пушкинским Финном, оперным волхвом.

Я довольно быстро освоил игру с листа. Это оказалось не труднее, чем чтение вслух. Когда звуки обрели графические оболочки, я смог проигрывать произведение без инструмента, внутри себя. Ноты походили на кнопки, приводящие в движение потаённые клавиши, и внутренние молоточки стучали по внутренним струнам. Со временем я пристрастился читать партитуры как романы. Такое чтение дарило свою особую, неслышимую прелесть, сравнимую разве с оглохшим торжеством обладателя плеера. Я напоминал себе такого счастливого владельца пары невидимых наушников.

Учёбы, собственно, у меня уже не было. Меня не терзали общими дисциплинами. Основное время я проводил за роялем, даже не успел толком познакомиться с моими одноклассниками. Сентябрь и половину октября я посещал занятия, а потом совершенно случайно попал на конкурс местного значения.

В первом туре я представил этюды Шопена. Сыграл недурно, чувствуя вдохновение из спины. Звенел каждый хрящик, пел каждый позвонок, звуки лились как слёзы. Мне очень долго хлопали. Растроганный приёмом, я удалился за кулисы. Вдруг послышались чугунные командорские шаги, чей-то громовой голос, румяный богатырский бас пророкотал:

– Да где же он, этот ваш новый Рихтер? Покажите же мне его!

Я увидел человека исполинского роста.

Он тоже заметил меня:

– Вот ты где, голубчик ты мой! – стремительно подошёл ко мне и порывисто обнял, потом на мгновение освободил, чтобы погрозыть кулаком невидимому врагу. – Нет, не вымерла ещё Россия! – и опять заключил в объятия. В глазах его стояли настоящие слёзы. – Ну, здравствуй! – сказал он мне, как будто мы встретились после томительной разлуки. – Я – Тоболевский, Микула Антонович, – великан земно поклонился.

Я заметил, что мы сразу очутились в центре внимания. Тоболевский, казалось, сознательно эпатировал закулисную публику. Он буквально стягивал взгляды. В его манере не говорить, а мелодекламировать, громогласно и вычурно, не чувствовалось особой фальши. В фактуре Тоболевского удивительно сочетались добродушие и мощь ярмарочного медведя с духовным порывом помещика, отравленного демократической блажью. Сходство с добрым баринном усиливала холёная, превосходной скорняжной выделки борода, чёрная, со змеистыми седыми прядями. На Тоболевском был фрак, но вместо фракной рубахи он надел вышитую, русскую. Под горлом у него красовался атласный махаон с бриллиантовой булавкой. Тоболевский источал пряничную, с глазурью, энергию. Ей невозможно было не поддаться.

Тоболевский тормозил меня, что-то спрашивал, я невпопад отвечал. За время нашей суматошной беседы он ещё несколько раз то грозил потолку, то коротко рыдал в кулак. Потом он вскричал: «Едем!» – и бесцеремонно выволок меня на улицу.

Я не очень удивился тому, что самая роскошная из припаркованных машин – белый лимузин – принадлежала ему. Проворный водитель открыл нам дверь, и мы уселись на заднее бегемотообразное сиденье. Перед нами стоял столик, тиснённый перламутровыми разводами, на нём поднос с графином и две рюмки.

– Выпей, золотой мой человек, – жарко сказал Тоболевский, хватаясь за графин. Я выпил, чуть закашлявшись от спиртовой, на горьких травах удавки.

– Польнь-матушка, – усмехнулся моей вкусовой гримасе Тоболевский, ещё раз наполнил рюмки и крикнул водителю: – Жми!

Лицо его сияло вдохновением и благотворительностью.

Мы приехали в ресторан под названием «Тройка». К Тоболевскому сразу подскочил прыткий администратор, одетый дореволюционным приказчиком, с прямым холуйским пробором:

– Хлеб-соль, Микула Антонович, милости просим.

Пока Тоболевский о чём-то договаривался, я осмотрелся. Зал ресторана был стилизован под русскую горницу, в золотых петушках, с многочисленными декоративными деревянными падугами. Стены и пол украшала мозаика, выложенная по сюжетам былин, с витязями, лешими и горынычами.

Задник сцены изображал птицу Сириин с развратным женским лицом и вызывающим бюстом. Птица состояла из множества электрических лампочек, которые, то зажигаясь, то затухая, делали птицу живой. Она подмигивала, открывала круглый рот и шевелила грудью.

Для поддержания стиля девушки-официантки носили кокошники. Стыдливые, до щиколоток, рубахи им заменяла импровизированная конская сбруя. На сцене играл живой оркестр, но исполнял он вовсе не русские народные песни. Звучала современная эстрадная мелодия, и хрипучий солист утробно докладывал о любви. Он спел, и, поскольку дальнейших заказов не последовало, оркестр заиграл медленный мотив. На пространство перед сценой лениво выползли тучные пары и затоптались, поворачиваясь по кругу, как шестерёнки в часах.

Я помаленьку пьянел. Графинчик с полынной настойкой мы выдули ещё в машине. Потом Тоболевский неоднократно заказывал выпивку, произнося тосты один за другим. Ска-терть не вмещала всей замысловатой снеди. Из многочисленных посудин с остроконечными крышками выстроилось подобие кремля с курантами на литровой бутылке. Оскаленная пасть гигантской твари, наверное, осетра, напоминала лик дьявола из ночного кошмара.

Тоболевский что-то выкрикивал, а я сидел, тупо уставившись в мерцающий контур сирийской груди. Лампочка, создающая эффект соска, перегорела, я смотрел в эту пустую точку и слизывал с пальцев прилипшие чёрные дробинки икры. Потом я понял, что Тоболевский скандалит с музыкантами. Он стоял возле сцены, нешуточно возмущался: «Бездари! Твари!» – и потрясал кулаками. Музыканты, тем не менее, продолжали играть. Они в такт пританцовывали, и создавалось впечатление, что они просто уворачиваются от грубых слов. Тоболевский сорвался с места и стал стаскивать их со сцены, раздавая пинки. Распорядитель стоял по стойке смирно и угодливо улыбался:

– Ну, будет вам, Микула Антонович, хватит с них!

– Нет, не хватит! – рычал разбушевавшийся Тоболевский. Он взобрался на сцену, поймал за загривок бессильного пианиста и принялся тыкать его носом в клавиши. – Это не твоё место, погань!

Пианист капризничал и вырывался, что приводило Тоболевского в ещё большую ярость. Он уже собрался прибить бедного лабуха рояльной крышкой, но вдруг передумал. Он ослабил хватку, вздёрнул беднягу как марионетку и, управляя его кукольной головой, развернул её в мою сторону:

– Вот кто здесь сидеть должен!

Пианист, соглашаясь, закивал, не известно – по своей воле или по распоряжению руки Тоболевского. На его счастье, расторопный распорядитель, не спускавший глаз с Микулы Антоновича, организовал общую просьбу: «Просим, просим!» – и из разных углов зала послышались редкие всплески аплодисментов. Я встал, чтобы проследовать на сцену.

Из-за соседнего столика неожиданно свесился мужик и, поймав меня за рукав, сказал, явно от переизбытка хамства:

– Давай, скрюченный, слабай что-нибудь!

Новый опыт подсказывал мне, что человека с такими замашками можно ставить на место без боязни последствий. Я ударил его ребром ладони по горлу, он подавился разбитым кадычным хрящом и рухнул на пол. Падение сопровождалось колокольным звоном битой посуды. К

нему подскочили несколько охранников, переодетых *à la* Садко, и вынесли из зала. Я триумфально сел за освободившийся инструмент и, учитывая специфику публики, стал наигрывать вариации на цыганские и бандитские шлягеры. Мне устроили бурную овацию.

17

Я довольно быстро сдружился с Тоболевским. Драка в ресторане этому только способствовала. Со временем я кое-что узнал о его жизни. Тоболевский работал финансовым магнитом или магнатом. Деньги шли к нему отовсюду. По-настоящему его звали Николаем. Микулой он назвал себя сам, по каким-то соображениям. Я относил Тоболевского к удивительному типу русских людей, способных проиграть в карты жену и погибнуть на баррикадах, отстаивая независимость захудалой африканской республики. Иногда мне казалось, что он воевал в Афганистане, но возраст его не вполне соответствовал этой войне. Было в нём что-то и от уголовника, но Тоболевский не сидел. Он производил впечатление образованного, нахватанного во многих областях, но иногда поражал вызывающей детскостью своих суждений и поступков. В такие минуты я задумывался, как он сумел заработать миллионы и, кроме того, сохранить их. Объяснения не подворачивались, и приходилось признать, что всё его великорусское кликушество, экстравагантность, парадоксальность – только части хитрой, тщательно, до мелочей просчитанной игры. А может, просто всемогущий фарт вёл Тоболевского.

В народе его любили, прощали ему и богатство, и лимузин, и трёхэтажный дом, и, по слухам, виллу в Ницце. Тоболевский нарочито не сторонился простого люда. Он выходил из машины поболтать с народом о тяготах и скорбях, при этом, разумеется, плакал. Давал деньги на строительство приютов, больниц и храмов. Для таких акций он всегда подключал телевидение, выступал с обличительными речами, а по бокам ставил либо старух, либо кресла с паралитиками. Однажды власти захотели его привлечь за какие-то грехи – так за народного горюна вступились тысячи. Тоболевского отпустили. Не минуло и недели, как Тоболевский организовал акцию невнятного протеста. Утром, в февральский мороз, он пришёл во главе толпы к дому губернатора области босой, без шубы, в одной рубахе. Встав под окнами, он звал губернатора «встречать утро боли народной». Тот не высунулся, Тоболевский картинно побушевал, устроил митинг, на котором говорил понятными народу словами, потом замёрз, сел в машину и укатил. После этого Тоболевского стали называть отцом-благодетелем.

Ко мне Тоболевский отнёсся со всей самоотверженностью своей темпераментной души. Для начала он пригласил ребят из какого-то телеканала, и обо мне сняли довольно слезливый сюжет: я в комнате с Бахатовым – вопиющая нищета; я за роялем – неумирающая гармония; я с Тоболевским – восторжествовавшая справедливость. В конце передачи назвали номер моего расчётного счёта, на который Тоболевский перечислил вполне круглую сумму.

Потом мне пошили фрак. В этом произведении искусства я выглядел подчёркнуто горбатым, но предельно элегантным. Я ещё надеялся, что умелые руки портного если не скроют, то хотя бы смажут мой жуткий ущерб. Но не тут-то было. Тогда я понял, что Тоболевский ни за какие там верижки и коврижки не променяет меня на стройного, без изюминки, гения.

Через короткое время мы поехали в Англию. В городе Лидсе проводился музыкальный конкурс, где я стал лауреатом. Очевидно, выбор страны тоже был продуман Тоболевским. Как прирождённый импресарио, он выжал всё возможное из моей внешности и королевской фамилии. Обо мне появились первые заметки в зарубежной прессе, которые с удовольствием собирал Тоболевский. Рядом с моим именем упоминалось имя русского мецената Микулы.

Рецензии существовали в диапазоне от фельетона до панегирика. Какой-то газетный шутник сравнил меня с куклой Петрушкой, ярмарочным атрибутом. По его словам, я, крутогорбый и скоморошный, олицетворял соединённый образ старой и новой России. Разумеется, все эти измышления подавались в весьма корректной форме. Из приятных гордыне сравнений наибо-

лее лестное уподобляло меня великому скрипичному горбуну девятнадцатого века, Николо Паганини.

Как ни странно, я почти не вынес впечатлений от дороги и от страны. В новинку был для меня воздушный перелёт да волшебное комфортабельное купе английского вагона. Когда мы возвратились на родину, меня ждала собственная квартира, если это можно было так назвать, скорее огромная студия. Под неё перестроили целый этаж. Тоже позаботился Тоболевский. Среди прочих вещей и необходимой мебели был прекрасный рояль, концертная модель, взятая в бессрочную аренду из музея.

Мельком оглядев новое жилище, я тут же понёсся к Бахатову. Он встретил меня, как будто мы только вчера расстались, и выглядел чуть измождённым. Эмоции его были сдержанны, но я видел, что он рад за меня. Я взхлёб рассказывал ему о самолёте, о замысловатом умывальнике в номере гостиницы и тут же распаковывал сумки с гостинцами. Вскоре на полу образовались несколько куч из одежды и обуви. Естественно, по магазинам ходил не я, а кто-то из прислуги Тоболевского. Я только на бумажке указал, что следует взять.

Бахатов сразу разделся, чтобы примерить вещи, и я увидел на его груди знакомые, недавно подсохшие кровоподтеки. По числам выходило так, что начало конкурса совпадало с ритуалом обгрызания. Заметив мой взгляд, Бахатов понимающе усмехнулся, а мне в который раз стало очевидным, почему Бахатов не сомневался в благополучном исходе моей поездки. Он предвидел его, потому что готовил.

Все обновы ему понравились, особенно джинсы и кожаная куртка с множеством змеек. До полуночи мы рассматривали мои фотографии с конкурса, яркие проспекты и подарочные наборы открыток, купленные уже в аэропорту. Конечно, я сразу предложил ему переселиться ко мне и не очень удивился, услышав отказ. На лице его изобразились смущение и мука, он забормотал что-то бессвязное, но при этом решительно качал головой, и интонации были просящие. Я всё понял и поспешил сказать, что я не настаиваю. Так Бахатов отстоял своё право на тайную жизнь.

В остальном ничего не изменилось. Мы по-прежнему виделись почти каждый день. Бахатов работал в своём жэке, я, подстрекаемый Тоболевским, готовился к грядущему конкурсу. Так мы перезимовали.

18

Моим совместным проектом с Бахатовым стал поиск родителей. Влияние многочисленных латиноамериканских сериалов сказалось на наших впечатлительных умах. Мы подключили газеты и радио. Я не особенно верил в успех предприятия, но поскольку Бахатов – натура неромантическая – занялся поиском, я сдался и тоже начал ждать и надеяться.

Бахатов аргументировал тем, что раньше мы были невыгодными детьми, нахлебниками, а теперь с нашими заработками составим счастье любым родителям. Действительно, через пару недель я получил письмо. Родная мать писала мне издали. На двух листах она плакала и просила то прощения, то денег на дорогу, чтоб побыстрее увидеться с сыночком.

Я просто покоя лишился, а Бахатов многозначительно потирал руки. Мы неоднократно перечитывали письмо, пытаясь составить по нему образ матери, но получалась клякса, слезливая и расплывчатая. Непонятным из письма оставалось, как она меня потеряла. Объяснение заменял трогательный абзац о выплаканных глазах.

Вначале я решил срочно выслать ей денег, благо, сумма не представлялась для меня проблематичной. Бахатов переубедил меня, настаивая, чтобы я съездил прямо к маме домой. Я уже начал собираться в путь, но меня вдруг смутила одна деталь. Мама писала, что «Глостер» была её девичья фамилия. По маминым словам выходило, что мой папа нас бросил и она мне дала свою.

В этом-то и была загвоздка. Я почти на сто процентов знал, что проименован искусственно. При мне не находили никаких документов, просто подобрали, может, на помойке, может, в парке на скамейке или из реки выловили – кто упомнит. Поэтому я на день отложил отъезд, до выяснения происхождения.

Я позвонил Тоболевскому, он подключил свои возможности, и к вечеру мне подтвердили, что под фамилией «Глостер» я был записан с лёгкой руки доктора, принявшего меня в распределитель для грудных детей. Ошибки быть не могло – значит, напутала мама.

Всё-таки я съездил бы к ней, но в течение нескольких дней мне пришло ещё с полдюжины писем от нескольких родителей, мам и пап. Вся родня отличалась бедственным финансовым положением – беженцы или погорельцы – и стремлением получить по переводу деньги, до востребования. Все казались такими сердечными, что я никому не отдал предпочтения и остался сиротой.

Бахатову вообще писем не поступило. Я очень разозлился из-за этого на всех близких родственников и сказал обескураженному Бахатову, что мы прекрасно проживём без них. Для успокоения я предложил ему навестить родной интернат и заодно Игната Борисовича. Тоболевский выделил нам машину, и мы, чуть волнуясь, поехали.

Я ожидал перемен, но не таких. Интерната больше не существовало. Остались только стены, да и те отреставрированные. Из окон исчезли решетки. Игровые площадки обрели новую, свежеекрашенную жизнь, на стадионе не пасли коз. Высоко в небе развевался флаг оранжевого цвета с непонятной эмблемой. Всё извращалось на круги своя. На месте интерната, бывшего пионерского лагеря, находился лагерь бойскаутов, ещё пустой, как очищенный желудок. Эта картина подействовала угнетающе – интернат казался нам незыблемой твердыней.

Наш Игнат здорово сдал за минувший год. Он одряхлел, и в пьяненьком взгляде появилась потусторонняя мечтательность. Встретил он нас приветливо, как выходцев из забытого доброго сна. Глотая обиду, Игнат Борисович рассказал, что, когда интернат признали нерентабельным и закрыли, его вытурили на пенсию. Потом какая-то организация выкупила у города здание и прилегающую к нему землю. Игнату Борисовичу некуда было деваться, и он попросился завхозом, аргументируя, что хозяйственник старой закалки, проработал на этом месте двадцать лет. Его оставили, и он жил, лишённый своего сумасшедшего королевства, одинокий Лир. Ведал простынями и резиновым спортивным инвентарем. Памятуя о хмельной его слабости, я привёз спиртных подарков. Игнат Борисович даже прослезился от умиления.

Мы устроились в комнатухе, заменявшей ему кабинет, там Игнат Борисович накрыл стол – и мы выпили за прежние совместные дни.

Вдруг Игнат Борисович встрепенулся:

– Пойдём, – сказал он мне и потащил на двор. У меня слегка сжалось сердце, едва я понял, куда он идёт. Мы обогнули интернат, Бахатов вяло плёлся вслед за нами.

Нашего кладбища тоже не было. Юные скауты умирать не собирались, и надобность в кладбище отпала. Земельное детище Игната Борисовича перекопали в чудный парк. По ухоженным дорожкам мы вышли к недавно разбитому цветнику. Он представлял собой узор из ромбовидных клумб, расположенных правильным квадратом.

Игнат Борисович подвёл меня к ромбу, содержащему незабудки вперемежку с анютиными глазками, и сказал:

– Здесь. Я специально сохранил место, знал, что ты захочешь посидеть у неё на могиле. Видишь, как тут красиво. – Я не понимал, как он проник в мою тайну. – А я ещё и не то знаю, – словно отвечая моим мыслям, сказал Игнат Борисович, – ну, про тех, что пропали, – он заметил моё смятение. – Да ты не бойся, я молчок, я что, мне на них плевать. Лишь бы на стаканчик хватало, а остальное гори огнём...

Слова сами по себе казались бескорыстными, но в голосе звучала разумная алчность. Я достал кошелек и сразу оплатил будущее молчание. Денег должно было хватить аж на белую

горячку включительно. Мы немного постояли возле клумбы с тряпичным прахом моей жены Настеньки и вернулись допивать бутылку.

От привалившего богатства Игнат Борисович развеселился. Он ходил за местным первачом, и мы до вечера пели детские хоровые песни. Потом мы засобирались, Игнат Борисович вышел нас проводить и долго махал рукой вслед нашей машине.

Так мы посетили отчий дом и, надо сказать, успокоились. По крайней мере, я.

19

Вскоре мне подвернулась вполне сносная практика. Знаменитый бас Андрей Запорожец предложил гастролировать с ним в качестве аккомпаниатора. Он готовил камерную программу из сочинений Мусоргского, циклы «Песни и пляски смерти» и «Без солнца». До этого он отверг все ранние обработки.

По задумке Запорожца, преобладать в оркестре обязан был орган – инструмент, легко воссоздающий погребальную атмосферу. В дополнение к органному звуку Запорожец хотел использовать различные световые эффекты, люминесцентные декорации и костюмы в готическом стиле. Произведение превращалось в некий диалог между исполнителем и органистом – двумя основными действующими фигурами, символизирующими жизнь и смерть.

Мне создали очень интересный костюм. За основу взяли гравюры Дюрера. Костюмер достал ткань, фактурой передающую тусклый блеск рыцарских лат, и сшил мне подобающее средневековое облачение. Гримёр тоже постарался и сделал моё лицо костявым обличьем Смерти. Остальных ребят из ударно-духовой группы гримировали под висельников и могильщиков.

Я очень увлёкся этой новаторской идеей и предложил Запорожцу не разделять между собой произведения, а без пауз нанизывать их на непрерывную музыкальную нить. Я продумал все тематические связки, за время которых Запорожец успеет сменить костюм, а зритель не вывалиться из концепции цикла. Запорожец с готовностью принял моё предложение.

Работали мы быстро и дружно, за месяц программа была подготовлена. Премьера состоялась в малом зале оперного театра. Конечно, не обошлось без помощи Тоболевского. Известно, какими правдами или неправдами он достал орган удивительного тембра. В течение нескольких дней его перевезли и установили на сцене. Вообще Тоболевский решил почти все технические и административные проблемы.

Когда наш триумф состоялся, в интервью телевидению Тоболевский сказал, что очень подумывает о возрождении «Русских сезонов» в Париже. Я, признаться, был уверен, что следующим городом, который мы посетим, будет Париж с его Нотрдамским собором, где Тоболевский организует русскому Квазимодо органнй концерт.

У меня не вызывало сомнений, что подсознательная мечта Тоболевского – создать русский паноптикум, труппу монстров и уродов, пляшущих или пиликающих. Искусство как самоцель его мало интересовало.

Эту невесёлую догадку о наличии у Тоболевского тайных наклонностей компрачикоса подтвердил следующий факт. Мотаясь по сибирским дебрям, он нашёл новую забаву – глухонемого борца Кашеева, двухметрового исполина чудовищной силы. Я даже заревновал, главным образом потому, что представлял себе сидящего в раздевалке мокрого Кашеева – свернул кому-то шею и доволен, а в коридоре уже голосит Тоболевский: «Да где же этот ваш новый Герасим, покажите же мне его!»

Как это ни забавно, я оказался поразительно близок к истине. Чтобы подключить Кашеева к денежной турбине, Тоболевский организовал соревнования имени легендарного Поддубного с увесистым призовым фондом. На такую приманку съехалось много именитых бойцов, к акции присоединились муниципалитет и ряд ведущих телекомпаний.

Кашеев знал своё дело. Он без разбора заламывал своих противников. На торжественной церемонии закрытия соревнований Тоболевский произнёс длинную речь, а под занавес сказал, что нашему чемпиону, кроме кубка и денег, приготовили ещё один маленький подарок. Вышла миловидная девушка, а в руках у неё был щенок спаниеля. Зрители взвыли от умиления, когда гигантский Кашеев, полчаса назад свирепо крушивший хребты, осторожно взял щенка и прижал к груди. Тоболевский поглаживал свою тургеневскую бороду и улыбался.

На достигнутом он не остановился. Сразу же после нововведённых соревнований Тоболевский организовал по западному образцу бои без правил, с Кашеевым-фаворитом. И, разумеется, пока Кашеев в ринге крушил и членовредительствовал, за канатами стоял человек Тоболевского с собачкой. В перерывах между раундами Кашеев брал её на руки и гладил.

Действительно, как явление коммерческое он превзошёл меня. Кашеев был зрелищней и потому прибыльней. В этом заключалась реальная опасность. Тоболевский в любой момент мог прекратить моё финансирование: и не из-за того, что пожадничал, а элементарно забыв о моём существовании. Я загрустил и даже собирался предложить Тоболевскому устроить турнир между мной и Кашеевым. Я очень рассчитывал на свою силу. У меня был шанс проверить свои борцовские возможности на одной из вечеринок, которые устраивал Тоболевский для близкого окружения.

Мы как-то засиделись на даче Тоболевского. Хозяин накрыл шикарный стол, и большинство приглашённых к вечеру уже были основательно хмельны. Все, кроме меня и нового любимца, – Тоболевский не позволял ему прикасаться к спиртному.

Тоболевский опять принялся расхваливать своего Кашеева, похожего на огромный, обтянутый кожей валун, пока это счастливое бахвальство не перешло в демонстрацию физической мощи Кашеева. Я старался не отставать, то скручивая в узел гвоздь толщиной с палец, то сминая пустую канистру на манер пивных импортных жестянок. Гости, Тоболевский и Кашеев страшно разгорячились. Я понял, что нужный момент настал, и вызвал Кашеева побороться. Тоболевский подумал и разрешил.

Мы перебрались на поляну за домом. На ней обычно играли в лапту и городки, то есть только в русские игры – так хотел Тоболевский. Поляна вполне подходила, как он выразился, и для «кулачного боя».

Кашеев снял рубаху, я тоже, следуя его примеру, разделся до пояса. Вдвоём мы составляли более чем контрастную пару. Я выглядел в половину меньше его. Конечно, если бы меня распрямить, во мне набралось бы достаточно роста – мы выяснили это, когда портной измерял мою спину матерчатым метром. И я всегда был каким-то иссохшим и болезненно белым.

Торс Кашеева не отличался античной красотой, но выглядел варварски мощно, как художественно опиленный ствол дуба. Мы сошлись, и я сразу понял, что представляет собой любимец Тоболевского. Мои руки ещё могли тягаться с ним, но шейные и спинные позвонки ходили ходуном, как баранки на шнурке. Я видел, что у Кашеева на коже, там, где её сжали мои пальцы, выступила кровь. Он был намного дюжее меня и привык терпеть боль. На какую-то секунду я зазевался, и, не остановив Тоболевский поединок, Кашеев, по всей видимости, сломал бы мне шею. Мы вернулись к столу. Остаток вечера я разминал ноющие суставы, а Кашеев, потирая пунцовые кровоподтёки на плечах, тихонько гудел на ухо Тоболевскому свои грустные мысли.

Имелся, конечно, и другой шанс потягаться с Кашеевым. Для этого пришлось бы отыскать двухголового скрипача, припадочную виолончелистку, флейтиста с картофельными отростками вместо ног – то есть сколотить коллектив сродни цирку лилипутов – к чему, собственно, и стремился Тоболевский. Ходили слухи, что он собирался везти Кашеева на какие-то престижные соревнования в Афинах. Сроки совпадали с моей поездкой на конкурс в Италию.

Я позвонил Тоболевскому, чтобы обо всём договориться и узнать, на каком свете нахожусь. Разумеется, я не выдвигал условий, боже упаси, просто поинтересовался, когда мы летим в Болонию. Тоболевский погрустнул и сказал, что не сможет в этот раз сопровождать меня,

но пообещал всё уладить с билетами, гостиницей, переводчиком и прочими дорожными мелочами.

20

Сама собой закончилась школа. Я сдал выпускные экзамены, отыграл концерт и получил соответствующие документы. Мой добрый ангел – декан Валентин Валерьевич – ждал меня в консерватории с распростёртыми объятиями. До нового конкурса оставалось три месяца, и я подумал, что единственным нашим с Бахатовым упущением остался непосещённый детский курорт. Я уговорил Бахатова, он взял отпуск, и мы укатили в Евпаторию.

С утра до вечера мы сидели на пляже возле воды, рядом торчали плоские головки зарытой по горло «пепси-колы». Неподалёку копали в песке свои миниатюрные катакомбы полиомиелитные дети, и чайки, глядя на нас, кричали от ужаса. Непостижимое море раскачивало мутные волны, огрызки фруктов прыгали на волнах, как поплавки. Несколько раз в день на горизонте показывался белый профиль лайнера. Тогда всем мерещилось скорое счастье, которому хотелось помахать рукой. От этой поездки сохранилось несколько фотографий, моих и Бахатова. На одном снимке Бахатов стоит у кромки моря, под мышкой у него облупленный пенопластовый дельфин.

По приезде я начал усиленно готовиться к конкурсу, включил в программу произведения Листа, Скрябина, Равеля и Рахманинова. Накатывал я их публично, дал восемь концертов в филармонии, и критики писали, что никогда ещё я так хорошо не играл. Наверное, они были правы.

За последние полгода я очень наловчился налаживать прочную связь с моим внутренним музыкантом. Раньше только на середине произведения ощущались его позывные, и я настраивался на нужную волну. Когда же он брал управление на себя, я отключался, он проникал в мои пустые руки, и тогда я играл лучше всех. Он был настоящий псих – тот, кто сидел в моём горбу, и настоящий урод. Каждая секунда его жизни заполнялась адовой мукой, о которой ему приходилось молчать, – у него отсутствовал язык. Я знаю, что он не смог бы жить вне меня – у него от рождения не было кожи. Он играл голыми, мясо на костях, пальцами – так он общался, и это тоже причиняло ему чудовищные страдания. Но, жаждая поведать миру о них, он превозмогал болью боль. Результат превосходил всё мыслимое. Это были слёзы высшей пробы. Может, поэтому стиль моей игры многие определяли как депрессивный. Но предельно индивидуальный.

Тоболевский проводил меня до аэропорта. Я летел в столицу и там пересаживался на «Боинг», следующий в Болонью. Тоболевский пожелал мне удачи и дал два небольших долларовых рулончика, перетянутых резинкой. Уже в Италии я развернул их. Первый состоял из пятидесятидолларовых купюр – на крупные и непредвиденные расходы, второй, – из мелких купюр – на чаевые и всякую чепуху.

В Болонье меня встречал заказной автобус, который и доставил к месту назначения. Мы ехали в город Больцано, что на севере Италии. Отель был по-прежнему коньячно-пятизвёздочным. Тоболевский выделил мне двух сопровождающих: тихого, как мышь, переводчика и телохранителя, компанейского парня, одновременно выполняющего обязанности камердинера.

Пока решались все административные вопросы, мне устроили экскурсию по городу. Через день состоялось открытие конкурса, я чувствовал себя легко и даже согласился позировать фотографам. Я позже видел своё журнальное, глянцево-лицо, выбеленное, с будто прилипшими ко лбу и щекам длинными чёрными прядями.

Это произошло на втором туре. Внезапно и болезненно. Как хорошо мне игралось, но вдруг в голове оборвалось что-то кровяное и сосудистое. Запекло в глазах. Угольные пальцы зарисовали их. Мне перестало хватать воздуха, я жадно тянул его и не мог выдохнуть. Меня разнесло, как шар. Схватило позвоночник, под лопатку со стороны сердца вонзилась спица. От крестца вверх поднималась гипсовая волна немоты, и вместе с ней спинной мозг превращался в железный, обледеневший стержень. Я попробовал переключить ум на музыку и не услышал ни звука. Подумал, что просто перестал играть, потому что в рояле лопнули или испарились все струны. Рояль оглох. В опустевшем горбу завывал кладбищенский ветер.

Наконец слух вернулся ко мне, и я частично прозрел. Боль в спине отпустила. Гипсовая капля медленно стекала по ногам. По времени приступ, видимо, занял не больше десяти секунд. Но я испугался. Такого со мной никогда прежде не случалось. Оставшуюся программу я доиграл чисто механически.

Напрасной оказалась надежда, что обморочная моя заминка останется незамеченной. Первым делом за кулисами поинтересовались, как я себя чувствую. Я не знал правды и ответил, что хорошо. Мне пригласили ласкового доктора. Он ощупал меня узкими перстами и порекомендовал клиническое обследование.

Камердинер, бледный от нагрянувшей ответственности, бегал по номеру и конопатил щели в окнах, точно собирался травиться газом.

– Это всё сквозняки ёбаные, – успокаивал он меня. – Что ж ты своё сомбреро не носишь, – сокрушался, имея в виду мою старенькую вязаную шапочку, и заботливо повязывал её вокруг возможного очага остеохондроза. Он кутал меня в одеяло, хотя на улице стояла тридцатиградусная жара. Приложив ладонь к моему лбу, на ощупь измерял температуру. Качество тепла удовлетворяло его, тогда он заворачивал мне веки. – Красные. Плохо, – хватался за телефон и вызванивал русское консульство.

– Да всё нормально со мной, что вы беспокоитесь, – говорил я ему.

Из консульства прислали машину, и меня повезли на обследование. Энцефалограмма не показала каких-либо серьёзных изменений.

Мой опекун расцвёл и тискал на радостях всех и каждого:

– Значит, порядок! А я, грешным делом, думаю: вдруг у него болезнь Бехтерева или Паркинсона... Нет? Ну, слава богу!

Я изо всех сил старался повеселеть, но тревога не отпускала меня, впившись в сердце паучьими лапками. Я поочередно отцеплял их, и с каждой уходила возможная причина беспокойства. Я размышлял следующим образом: с конкурса меня никто не снимал. На первые места, наверное, рассчитывать не приходится, но звание дипломанта, по любому, за мной, а это тоже немало – только участие в таком солидном мероприятии обеспечивало карьеру, а я уже заработал имя. Я успокаивал себя подобным образом, пока не забылся.

Как я и предполагал, мне позволили доиграть в третьем отборочном туре. Выступал, правда, не ах. Я и сам это слышал. И не в технике дело – не было вдохновения. Я играл с онемевшей спиной, без привычного поводья, поэтому пальцы извлекали не звуки, а щёлкали орехи. Сплошной треск, а не музыка. Я получил утешительное звание, мне предложили пару концертов, но я отмёл все приглашения.

Возвращались мы без прежних удобств, вторым классом. От этого я чувствовал себя провинившимся, не оправдавшим доверия и нервничал, ожидая встречи с Тоболевским. Он встретил нас в аэропорту, насупленный думой.

Я сразу сказал ему:

– Вы не расстраивайтесь, Микула Антонович, в следующий раз лучше выступим.

– Да ну их в жопу, блядей коррумпированных. Им лишь бы русского человека опустить! – ругнулся Тоболевский.

Я чувствовал, что за фасадом национальной обиды притаилась другая секретная мысль, о которой он не решается мне сообщить.

Тоболевский сделал паузу и сказал:

– Тут у твоего друга неприятности большие.

– Какие неприятности? – я старался говорить спокойно, но внутри меня закрутилась мясорубка. То, что с Бахатовым случилась беда, я понял ещё в Италии, но от страха забросил на чердак знание о ней. Я назвал число – день моего провала: – Я не ошибся, Микула Антонович?

Тоболевский грозно зыркнул на моего камердинера:

– Я же просил тебя не говорить ему ничего, дурак!

– А что я? Я как рыба, – обиделся тот. – Сашка, скажи!

– Правда, Микула Антонович, он ничего не говорил, я сам догадался. Вы лучше скажите, что случилось с Бахатовым?!

– Человека он убил, – как бы удивился событию Тоболевский, – причём не просто убил, а голову отгрыз. Вот такое, бля, зверство совершил, – сказал Тоболевский и спрятал шею под воротник. – Он же вроде у тебя нормальный был, да?

Тоболевский был знаком с Бахатовым, приезжал к нему – может, в надежде открыть очередной уродливый талант. Иногда Тоболевский пользовался Бахатовым для благотворительных нужд. Передачу благ – денег и продуктов – он производил из рук в руки и всегда для объектива.

Я ничего не понимал. Бахатов не мог совершить такого. Убийство противоречило его натуре, пусть холодной, но не жестокой.

Бахатов в тот день не работал. В районе вечером произошла авария, и за ним послали напарника. Тот прибежал к Бахатову на квартиру, но не застал. Старший мастер вспомнил, что Бахатов по выходным пропадает на заброшенной стройке, торчит на крыше и до захода солнца будто поёт непонятные песни. Напарник пошёл туда за Бахатовым и не вернулся. Их обнаружили только к ночи: напарника с отчленённой головой в луже крови и рядом с ним обеспамятевшего Бахатова.

Я и не знал, как может болеть та часть души, где хранится любовь. Я ощущал этот орган живым кусочком страстного теста, и чья-то злая воля раскатывала его в блин шипастым валиком. В конце концов, случилось то, чего так боялся Бахатов. Его потревожили в момент ритуала. Он и раньше предупреждал меня об опасности вмешательства, но я не предполагал, что это настолько чревато.

– Где он сейчас? – спросил я.

– В отделении судебной психиатрии. Он в коме. Его вначале в изолятор отправили, там он сознание потерял, а оттуда уже в больницу.

Я едва сдерживал слёзы. Одна мысль о беспомощном мягком Бахатове, которого волокут на казённую койку, сжимала мои кисти в стальных спазмах.

– Не переживай, – успокаивал меня Тоболевский, – ничего ему не будет, он же психически больной. Полежит годик под строгим надзором, а потом мы его вытащим.

Мне не хватало подробностей, и я попросил Тоболевского подвезти меня к нашему с Бахатовым учителю, Фёдору Ивановичу, реальному свидетелю несчастья. Старик был вдребезги пьян. Он бросился мне на шею:

– Горе, Сашка, какое! Хороший парень – и такую беду учинил!

Он рассказал мне почти то же самое, что и Тоболевский. Несколько кровавых уточнений не вносили ясности в общую картину. Получалось, что Бахатов в приступе болезненного гнева зверски убил приятеля по работе. Клянусь, я безразлично бы отнёсся к тому, что мой Бахатов – убийца, если бы это могло быть так. Существовала другая правда, которую предстояло выяснить.

Я умолял Фёдора Ивановича вспомнить, пытался ли Бахатов хоть как-нибудь объяснить свой поступок. Старик долго не давал вразумительного ответа, только плакал.

– Он всё о какой-то собаке говорил, просил оставить его хоть на пять минут, – сказал, наконец, Фёдор Иванович.

– Оставили? – с малой надеждой спросил я.

– Нет, он сопротивляться стал, ему по голове дали, и он затих.

Теперь я ни на йоту не сомневался в непричастности Бахатова к убийству. Очевидно, что глупого и несчастного сантехника загрызла собака из колодца, и об этом Бахатов пытался рассказать пришедшим. Разговор с Бахатовым откладывался из-за его состояния, оставалось ждать, когда он придёт в себя. Вдобавок он нуждался в улучшенном уходе. Тоболевский обещал похлопотать.

Наверное, я выглядел совершенно измождённым. Тоболевский подвёз меня прямо к дому и велел отдыхать. Он рассчитывал уладить все проблемы за пару дней. Я свалился на свою кровать с мягкой панцирной сеткой и долго раскачивался на ней, приводя нервы в порядок.

Неожиданно для себя я отметил, что мои переживания прекратились. Тревога ушла, оставив не успокоение, а странную зудящую пустоту. Я на время примирился с этим назойливым ощущением. Через час пустота рассосалась по всему телу. На секунду мне показалась безразличной судьба Бахатова – она представилась мне неприсутствующей в жизни. Я почти насильно заставил себя сострадать и продолжал бодрствовать, пока эта эмоция не закрепилась. Но заснул я холодным и бесчувственным сном.

23

Утром позвонил Славик, водитель Тоболевского, и сказал, что мы можем ехать к Бахатову, а Микула Антонович обо всём договорился, но сейчас занят и с нами не поедет. Чуть помявшись, он добавил, что не сможет забрать меня из дому – ему не с руки, – а подберёт в центре, возле универмага, ровно в одиннадцать.

Я пришёл раньше минут на пятнадцать. Вдруг меня осенило, что я забыл купить Бахатову вещевой гостинец. Баночки с икрой и фрукты уже лежали в кульке. Я пробежался по этажам универмага, размышляя, что бы купить, но так и не выбрал. Все вещи казались мне надуманными, бесполезными и совершенно неподарочными. Время поджимало, я заглянул в отдел хозяйственных товаров и понял, что попал по адресу. Мой взгляд сразу остановился на упаковке баночных пластиковых крышек. Это было то, что нужно. Во-первых, они напоминали о нашем детстве и первой страсти Бахатова грызть пробки и крышки, во-вторых, они являлись своеобразным реабилитационным тренажером, в котором, по всей вероятности, нуждался Бахатов.

Я не сразу заметил Славика, потому что он был не на обычной легковушке, как я ожидал, а на служебном «рафике». Машина предназначалась для грузовых перевозок, так как в ней убрали сиденья, оставив одно, рядом с водительским. Я досадливо подумал, что Тоболевский

выделил неудобный транспорт – Бахатову даже присесть некуда. Но вспомнил, что он ещё болен, нуждается во врачебной помощи и ехать не сможет.

В половине двенадцатого мы подкатили к психиатрической клинике, где находился перевезённый из изолятора Бахатов. Оставив машину возле серых металлических ворот, сваренных из средневековых копий, мы зашли на территорию больницы. Там к нам присоединился ещё один человек, парень из охраны Тоболевского. Он кивнул Славику, пожал мне руку и молча пошёл вслед за нами.

Я удивился и обрадовался одновременно тому, что территория больничного комплекса не охраняема и совершенно не казарменного типа. Но, возможно, Бахатов находился в особом корпусе под милицейским надзором. А в целом, если бы не решётки на некоторых окнах, всё напоминало парк вокруг скромного санатория.

Славик несколько раз шёпотом уточнял у проходящих людей дорогу, и, наконец, мы подошли к двухэтажному старому зданию, стоящему особняком от остальных корпусов.

Я не успел прочесть табличку на входе, удостоверяющую суть данного заведения. Меня лишь порадовало полное отсутствие охраны и даже вахтёра.

Мы прошли чуть вперёд по сумрачному коридору в поисках административной двери. Из-за невидимого поворота появился доктор в зелёном переднике и спросил, что нам нужно. Славик неловко завозился с документами, потом он вместе с доктором отошёл и стал под единственной на коридор лампой. Доктор бегло просмотрел бумажки и пригласил нас следовать за ним.

Вокруг царил церковная тишина, только вместо ладана нестерпимо пахло дезинфекцией. Чтобы хоть как-то разрядить эту едкую тишину, я запустил шутку, натянутую, как резиновая перчатка:

– А тараканов у вас точно не водится? От такого запаха все передохнут!

Доктор с неожиданной прытью откликнулся на шутку:

– Тараканов нет, зато крыс предостаточно! – и рассмеялся пугающим совиным смехом.

Славик солидарно покряхтел, но на лице его был религиозный испуг. Охранник Тоболевского оставался египетски нем.

Я вдруг спохватился, что веду себя фривольно и эгоистично и совсем не поинтересовался здоровьем Бахатова.

Я выдержал паузу и степенно спросил:

– А как чувствует себя пациент Сергей Бахатов?

– Хорошо, – откликнулся частушечным голосом доктор. – Чаёк попивает, газетку почитывает.

– А когда его можно будет забрать?

– Да прямо сейчас! Юморист! – доктор открыл дверь в палату.

Я действительно ожидал увидеть Бахатова с чашкой дымящегося чая в руке, нежный свет настольной лампы и стопку газет на тумбочке возле кровати. Комната была чёрной и холодной. Доктор в два прихлопа нашарил выключатель, и на потолке вспыхнул тусклый медицинский плафон. Посреди комнаты стоял широкий оцинкованный стол, на котором лежал белый свёрток размером с человека.

Сам не зная почему, я ударил доктора в живот. Он влетел в стеклянный шкафчик, рассыпая трупные инструменты и выдавленные стёкла. Я подскочил к доктору и несколько раз пнул его ногой.

– Хватит с него, – вдруг сказал охранник. – Убьёшь, а он нам ещё пригодится.

Дёргающийся на полу доктор давился ругательствами, выдувающими на губах розовые пузыри. Скрюченной рукой он вытер со скулы кровавую липкость и посмотрел на охранника с вопрошающей ненавистью.

– Это друг босса, – вяло объяснил мой срыв охранник, – у него горе. Право имеет.

Доктор перевалился на колени и, опираясь на кулаки, попытался приподняться. В такой обезьяньей позе он восстановил равновесие, встал и шатко поплёлся к умывальнику.

Я подошёл к свертку на столе и распеленал в том месте, где угадывались очертания головы.

На меня взглянул мёртвый Бахатов. Он очень отличался от себя спящего. Новый профиль Бахатова был лимонно-жёлтым, с оттопыренным, как у подстаканника, ухом. Я коснулся пальцами его лба и почувствовал холод внутри Бахатова. Этот холод показался мне единственно живым в Бахатове, потому что он, подобно электрическому току, проник в меня и подморозил мои внутренности. В одну секунду мы стали одинаково ледяными.

– Когда он скончался? – спросил я.

– Вчера ночью, – фыркая водой, сказал доктор.

– От чего он умер?

– Приступ гипертоксической шизофрении, – доктор уже умылся и смотрелся вполне сносно, будто измученный флюсом, – а проще говоря, отёк мозга.

– Его можно было спасти? – я спрашивал без провокационного подтекста.

– Пожалуй, нет, – честно ответил доктор, – слишком поздно привезли.

На открывшейся шее Бахатова я увидел синий полумесяц. Точно такой же, симметрично расположенный, я нашёл с другой стороны шеи. По краям синяки были более крупными, посередине – мелкие и частые. Вместе они напоминали след от собачьего укуса.

– А это откуда взялось?

– Это? – доктор склонился над Бахатовым. – На укус похоже, да? Сосуды лопнули. Бывают и не такие узоры. – Доктор повернулся к охраннику. – Вы труп сейчас заберёте? Если заберёте, мы его подготовим.

– Готовьте, – сказал охранник. – Вот его одежда, – из своего кейса он достал чёрный костюм с разрезом на спине, – переоденьте покойника.

Доктор вышел за помощниками и скоро вернулся в сопровождении двух санитаров. Они ловко обнажили Бахатова. После смерти ему не скрестили руки, а уложили по швам, как солдату.

На правой руке ногти были полностью обкушены, на левой оставались два ногтя – на указательном и большом пальцах – адова мука Бахатова. Я не мог вернуть ему жизнь, но в моих силах было успокоить его на том свете, избавить от вечно грызущего пса.

Благодаря проворству санитаров Бахатов вскоре лежал нарядный, как жених. Доктор принёс длинный полиэтиленовый мешок на змейке.

– Подождите несколько минут, – сказал я, – если не трудно, оставьте меня с моим другом, я хочу побыть с ним наедине.

Славик сразу убежал вместе с санитаром, чтобы тот показал, как подогнать машину прямо под морг. Доктор и второй санитар сказали, что сходят за носилками. Охранник собирался ехать в крематорий – там мы договорились встретиться – и тоже вышел.

Я присел слева от Бахатова. Интуиция подсказывала мне, что я поступаю правильно. Я взял в свою ладонь кисть Бахатова, холодную, как зимний булыжник, и немного погрел. Я убедил себя, что собираюсь сделать акт не более страшный, чем облизывание сосулек, обхватил ртом первую фалангу с ногтем на указательном пальце Бахатова, пристроил зубы и начал по миллиметру откусывать выступающую роговую кромку.

У ногтя не было вкуса. Уже поэтому долг перед Бахатовым казался мне простым и необходимым. На большом пальце ноготь вырос гораздо твёрже, и мне пришлось повозиться, прежде чем я отгрыз его. С кривыми сабельными обломками во рту я мысленно простился с Бахатовым, пожелал ему счастливой смерти и выплюнул огрызки. Далее, повинувшись какому-то наитию, я осмотрел шею Бахатова. Как я и рассчитывал, собака отпустила его.

Вернулись доктор и санитар. Бахатова уложили в мешок и погрузили на носилки. На пороге мертвецкой я оглянулся. Свет был выключен, но на столе, где минуту назад находился Бахатов, суетилась и ворочалась чёрная тень, слышались царапанье когтей по цинку и тихое урчание, а потом над столом зажглись и повисли две красные искры.

24

Мы выехали за город. Через некоторое время я увидел здание крематория, похожее на уютный заводик с изразцовой нарядной трубой. Возле ворот нас ждали охранник и местный сотрудник.

Он вежливо сказал:

– Проходите, пожалуйста, в церемониальный зал, там вы сможете проститься с усопшим.

По мощёной, в траурных разводах, дорожке мы со Славиком прошли к центральному входу крематория. Бахатова внесли с другого входа. Охранник последовал вслед за приёмщиком со словами, что мы не нуждаемся в каких бы то ни было ритуальных обрядах, и желательно всё провести по возможности быстро.

Церемониальный зал крематория из-за обилия облицовочной плитки очень напоминал станцию метро. Бахатов лежал в разборном, как кузов самосвала, гробу. Из динамиков, замаскированных под венки, оркестр заиграл грустную мелодию Дворжака. Поскольку слов для прощания у меня не было, я положил в гроб к Бахатову кулёк с продуктами и крышками и, как с перрона, помахал рукой. Неслышно включилась движущаяся лента, и Бахатов медленно уплыл в квадратный проём, колыхнув бархатные портьеры.

Я выстоял несколько минут в ожидании характерного выстрела, который издаёт лопнувшая от жара консервная банка, но ничего не услышал. Распорядительница в чёрной хламиде предложила нам прогуляться в саду, пока готовят урну с прахом. Через полчаса мне вручили железную коробку с порошком Бахатова. Она была чуть тёплой.

Охранник сказал мне, что место для урны забронировано на первом городском кладбище, но я отказался хоронить там Бахатова. Я имел по этому случаю особое мнение. Охранник счёл все свои погребальные функции выполненными, сел в машину и уехал. Остались я и Славик.

– А теперь куда? – спросил он, когда мы сели в кабину.

– В «Гирлянду», – высказал я вслух внутреннюю мысль, не предназначенную для наружного употребления.

– Это что, кладбище такое, привилегированное? – мрачно поинтересовался Славик.

– Почти, – я поразился его догадливости.

– И далеко отсюда? – Славик устало потянулся к ключу зажигания. Мотор всхлипнул и завёлся.

– Не знаю, минут сорок.

– Тогда, может, завтра? – встрепенулся Славик.

– Нет смысла. Сегодня одним махом всё и закончим.

Мне совершенно не хотелось ему объяснять, что завтра для меня, возможно, не наступит, – у нас, гирляндовских воспитанников, разрыв между смертью напарников не превышал трёх суток.

– Ну не могу сейчас, – артачился Славик, – мне ещё по городу помотаться надо, на фирме дела, а после машину в гараж сдать. Я вот что – я тебя домой заброшу, а вечером на своей тачке заберу. Так и быть, съездим.

– Ладно, только у меня к тебе просьба будет: захвати лопату, любую, лишь бы копала.

– Сделаем, – пообещал Славик.

– И ещё: отвези меня в одно место, – я назвал ему адрес моей бывшей жилищной конторы. Я очень хотел, чтобы Фёдор Иванович и ребята попрощались с Бахатовым. И не прогадал.

В конторе наши отмечали девять дней по зверски убиенному коллеге. Я присоединился к их горю. На каком-то водочном поминальном витке я осмелел, достал урну, поставил её на стол и сказал: «Выпьем за Серёжу Бахатова!»

Они-то не знали, что он умер, и после каждой стопки чихвостили его почем зря. Я был готов к негативной реакции, но ребята оказались на духовной высоте. Присутствие на поминках праха возможного убийцы не смутило их. Они выпили и за Бахатова, пожелали ему пуховой земли, царствия небесного и червонца за гнилой стояк. Такая у наших ходила поговорка.

25

Славик заехал за мной около восьми вечера. «Раньше не успевал, – оправдывался он. – Зато смотри, не забыл», – он протянул мне складную лопатку в брезентовом чехле.

На исходе сентября, в сумерках, наш альма-патер, переоборудованный в лагерь, за невысоким забором, весь в кустах и деревьях, вполне сходил за кладбище. Скаутский летний сезон закончился, интернат был тих и пуст. Я сказал Славику, чтобы он ждал меня в машине, а сам пошёл когда-то знакомыми, а теперь асфальтированными и чужими тропинками. Мне казалось, что Бахатова следует похоронить рядом с Настенькой.

Очень быстро стемнело, и серые окрестности погрузились в непроглядный мрак. Даже я, знавший наизусть все нехитрые маршруты, ведущие к интернату и от него, понял, что не могу сразу определить, куда мне идти. Я долго вглядывался в темень, пытаюсь сориентироваться. Дело в том, что мы подъехали к интернату с другой стороны, и моя топографическая память не перестроилась на зеркальное восприятие. К счастью, подул высокий ветер, разогнал тучи. Проглянула луна в компании звёзд и тускло осветила мой ошибочный путь. Я забрёл в совершенно противоположную сторону. Пришлось возвращаться, но я уже шёл в нужном направлении – напрямик к кладбищу, с Бахатовым в одной руке и лопаткой в другой. В каждом шевелящемся кусте мне мерещился лохматый собачий бок.

За деревьями начинался цветник: ухоженные клумбы различных геометрических форм, помещённые в строгий прямоугольник. Игнат Борисович никого не забыл и перехоронил каждого ребёнка в своей клумбе. Я ненадолго растерялся, потому что не помнил, в какой из них лежит Настенька. Я бы определился по ряду и месту, но не знал, откуда считать. Весною на могиле росли незабудки, теперь её покрывал увядший травяной сор, она потеряла основные приметы.

Я ходил среди могил и терзался сомнениями. В одном из рядов я просто нашёл пустую землю. На ней вполне поместились бы две персоны. Это решало все проблемы. Я сел рыть яму.

Почему-то я начал делать её размером как для целого человека в гробу, а не ёмкости, величиной со скворечник. Я сообразил, что это займёт у меня в десять раз больше времени, но убедил себя не мелочиться на труде. Почва была рыхлой, и моя работа успешно продвигалась.

Я вырыл яму глубиной метра полтора, выровнял стенки и, как на дно сундука, опустил туда урну. Чуть отдохнув, я нащипал каких-то сорняков, сохранивших цветы до осени, и бросил поверх урны. Под деревьями я накопал землю для холмика и в несколько приёмов перенёс её в рубахе, а самому холмику придал стандартную форму перевёрнутого корыта.

От отделочных работ меня отвлекли еле слышные фортепьянные аккорды, доносившиеся со стороны интерната. Наверное, я воспринимал звуки давно, но не вычленил слухом из-за органичного их соответствия происходящему. Мелодия была простенькой, но очень скорбной. Фальшивый строй самого инструмента придавал ей особую шарманочную грусть.

Как зачарованный, я обошёл здание в поисках источника звуков. Мелодия стала отчётливей и громче. Из подвального окна, наполовину утопленного в землю, выползало дряблое кружево света. Присев на корточки, я заглянул в окно.

Сперва я увидел спину человека за пианино. Играл горбун, и уродство его было чудовищных размеров, вздущееся, как комариное брюхо. Горб чуть покачивался в такт музыке, оболочка его, укрытая одеждой, казалась тонкой, пленочной. Я подумал, что если проткнуть этот горб, он лопнет высосанной кровью.

Потом я вспомнил сам инструмент – старенькое интернатское пианино, случайно мной открытое в заброшенной комнате. Я не предполагал, что оно способно издавать такие тревожные и сладостные звуки. Тем временем мелодия обрастала новыми темами и вариациями, становясь всё более горькой и прекрасной. Я мог поклясться, что этой мелодии раньше не существовало и что я знал её всю жизнь.

На дощатом столе горела керосиновая лампа. Тонкий фитиль дрожал в неестественно-ярком синем бутоне. Рядом стояли три стакана и бутылка, не хватало лишь двоих приятелей горбатого импровизатора. Вдруг он обернулся, положив на плечо длинный подбородок.

Это был Игнат Борисович. Невдалеке завyla собака, громыхая колодезной цепью. Игнат Борисович засмеялся пунцовым опухшим ртом, высунул, дразнясь, длинный язык, и в мелодии появились рубленые ритмы танго. Стол отъехал куда-то вбок, освобождая пространство для танцующей пары.

Они появились – два свившихся тела в белом. Ведущий танцор двигался широким шагом, поддерживая партнёра под поясницу. Второй эффектно подволакивал ногу, пока она не выскользнула из штанины. Свободной рукой он подхватил свою оторванную конечность и стал обмахиваться ею, как веером. На подъёме музыкальной страсти они одновременно посмотрели на меня, чтобы я вспомнил их сведённые насильственной смертью лица.

Страшно выла, срываясь с цепи, собака. А музыка уже сменила характер – звучала русская «Барыня». Вплыла молодая красавица. Простыня в кровавых пятнах заменяла ей шаль. Повернувшись ко мне, она распахнула простыню, под которой отсутствовало тело. Грянул заключительный аккорд, упала пустая простыня, со звоном лопнула цепь, сдерживающая собаку.

Я отлип от окна и поднялся, успев подумать, что забыл на могиле лопату и лишил себя единственного оружия. Я вскинул для защиты руки в надежде перехватить злобную тварь под горло. В какую-то секунду я увидел, как на большом и указательном пальцах левой руки пробились стальные ножевидные ростки.

То, что приближалось, не имело зримой формы – одни стеклистые очертания. Оно обладало массой, я ощущал дрожь земли лучше сейсмографа. Я не увидел, а почувствовал челюсти, сомкнувшиеся рядом с моим горлом. Уже не приходилось гадать, какой природы это существо. Огромный сгусток невероятно сильной эмоции, чудовищный концентрат скорби облепил меня. В каждой молекуле существа, казалось, сосредоточилась боль по десяти умершим сыновьям. Напорившись на мои стальные ногти, сгусток прорвался и потёк. По мне струились слёзы, горючие и обжигающие, как кислота.

Неподалёку пробежал, бряцая вёдрами, Игнат Борисович, и на спине у него расплывалось огромное чёрное пятно. Перед ним открылся, как глаз, колодец, закрылся и исчез вместе с Игнатом Борисовичем.

26

Под моими ногами лежал издохший пёс – сторожевой полкан, заурядная помесь овчарки с неизвестным собачьим плебеем. На кольце ошейника висел короткий обрывок цепи.

Я испытал чувство досадной неловкости. Особенно когда заметил, что у моего невольного злодея был свидетель. Старик, возможно, местный сторож, стоял в нескольких шагах от меня, пряча в ватный воротник красное, словно отсиженное лицо. Он явно не решался подойти и заговорить первым.

– Вы уж извините за собачку, – сказал я, отвратительно смущаясь, – совершенно не хотел её убивать.

– Если вы жмура привезли, так зачем же сами-то закапывали, ручки свои марали, – оживился старик. – Я и лопату бы принёс, и с извёсткой закопал бы, – на каждое его слово приходился мелкий услужливый поклон. – Я ведь сколько тут позакапывал, и всех с извёсткой, мне ваше начальство доверяет, а вы сами потрудились, нехорошо... – бедняга, очевидно, переживал, что упустил заработок.

Я не выяснял, какое начальство прячет здесь покойников.

– Вот, возьмите, – я протянул ему сотенную бумажку.

– Благодарю! – сторож хищно сжевал награду кожистыми, будто куриными, пальцами.

Бормоча о каких-то дополнительных услугах, что он бы за надобностью и расчленил, и в газетку завернул, хозяйственный старик наклонился к мёртвому псу и снял с него ошейник.

– А может, вам собак нравится душить? – доверительно поинтересовался сторож. – Так я могу добыть.

– Спасибо, не нужно, – я поспешно отказался.

– А не желаете уродицу? – он алчно облизнулся. – Тысячку дайте и вытворайте с ней всё, что душе угодно, помрёт – не жалко, я с извёсткой закопаю. Здесь их раньше много водилось: и уродов, и уродиц, – сторож плутовато улыбнулся, – а потом перевелись, я последнюю забрал...

Кажется, в тот момент он рассмотрел меня полностью. Сторож дурно закричал и рухнул на землю.

– Ты чего орёшь, дурак? – я не совсем понял причину его испуга.

– Так ведь убьёте, – заплакал сторож.

– Зачем мне тебя убивать? – я удивился.

– Вроде как пару вам нашёл!

Мне оставалось поражаться тому наивному изяществу, с которым он записал меня в уроды.

– Пожалейте, я вам её даром отдам! – сторож проворно вскочил и, ежесекундно оглядываясь, побежал нелёгкой старческой трусцой. – Сюда, сюда, тут она...

Он подвёл меня к постройке, напоминающей добротный дворницкий сарай, в котором хранят инвентарь. Какими-то цепляющимися за жизнь движениями сторож отодвинул засов и открыл дверь. Отвесив жалкий поклон, он юркнул в сарай и через минуту вывел обещанную девочку.

– Видите, какая она, – сказал сторож, – чистенькая, сытая, – он погладил её по плешивой, с редкими прядками светлых волос головке.

Это был ребёнок-идиот с довольно милым, немного бульдожьим личиком. Я хорошо помнил таких детей, пухлых и беспомощных. Она улыбалась, показывая редкие и мелкие, как рис, зубы. Для соблазнительности её нарядили в перешитый из больничной пижамы короткий пеньюарчик – из-под застиранных рюш торчали толстые и морщинистые, как у младенца-переростка, ножки.

– Поздоровайся с дядей, Настенька, – сказал сторож с робкими нотками игривости.

Девочка стояла, не шевелясь, затем, по устоявшемуся рефлексу, подтянула до пояса пеньюар, обнажая курчавые гениталии.

Моё молчаливое созерцание послужило сторожу сигналом к бегству. До этого он осторожно пятился, а затем рванул что было сил за деревья. Девочка глянула сквозь меня слипшимися крошечными глазками и, потоптавшись на месте, заковыляла обратно в сарай.

В природе обозначились первые признаки рассвета. Акварельная чернота небес сменилась синими тонами. Я шёл к машине без надежд и без страха. Смерть откладывалась лишь до того момента, пока трупный яд Бахатова, как из сообщающегося сосуда, полностью не перельётся в моё тело и не остановит сердце.

Фридель

Фридель был если не самым плохим, то уж самым скучным фокусником. И жалким. Техническая блеклость и отсутствие пиротехники сводили выступление Фриделя к уровню пригородно-санаторного увеселения: общительный инженер, умница, мастер на все руки Ванадий Смоковин добровольно развлекает отдыхающих, потому что киномеханик пьян, свинья. Компенсируя зрелищную недостаточность, Фридель кривлялся и кукарекал, как дореволюционный «рыжий».

Если в молодости он щеголял сатанинской красотой (я видел фотографию – белокурая бестия!), то к старости Фридель мог бы без грима служить моделью для воскового болвана императора Тиберия. Маниакально-выразительное лицо. О блуде, алчности, жестокости, коварстве лгала внешность Фриделя.

Репертуар его ограничивался карточными фокусами, похожими на пасьянсы. Жалостливый, я раздобыл подлистку журналов, где на последней странице всегда печатался фокус с разгадкой, надеясь, что Фридель разучит что-нибудь простенькое. Упрямый старик даже не развязал бечёвки, перетягивавшей журналы. Он считал ниже своего достоинства побориться чужими идеями.

Я пытался помочь Фриделю, я взял на себя роль его импресарио, любезничал в ногах у директрисы привилегированного лица, вымаливая за умеренную плату ангажемент. Наврал, что Фридель – лауреат каких-то конкурсов, заслуженный артист...

...Боюсь вспоминать... Фридель, в чёрной пелеринке, в цилиндре, с площадным гримом, походил на вампира, и привилегированные ублюдки орали, как ишаки. Всё валилось у него из рук: шарики не отрывались, платки не развязывались – простейшие номера! Маразматик, клаустрофоб кролик в момент поднятия за уши сошёл с ума, обосрался... А Фридель, едва держась на ногах, прыгал, кривлялся и кукарекал. Я тогда был в прекрасных, как скрипки Страдивари, модельных туфлях, а возвращаясь домой, дурак впечатлительный, разможил о дерево свои Страдивари.

Фридель решил показывать фокусы в переходах метро, и личинка моей совести выросла до размеров анаконды. Я взял деньги и поехал к Фриделю. Дверь открыла его жена – в жизни не видел прозрачней старушки – и шёпотом попросила о тишине. С Фриделем в метро случился сердечный приступ. Я, тоже шёпотом, сообщил, что принёс гонорар от педагогического колледжа, где Фридель выступит через месяц, когда поправится.

Из комнаты показался Фридель в халате – растрёпанный маленький нетопырь. В вытянутой руке он держал блюдечко. Кукольно улыбнулся, да вдруг его повело назад, он потерял равновесие. Упало блюдечко, упал Фридель, очень смешно, на спину... Как пресс-папье.

Старик не поднимался. Я, преодолевая не страх, не отвращение (нет слова, нет эпитета, но что-то же я переборол в себе), опустился на корточки и ритуально возложил пальцы на немое его запястье.

У скорых помощников не оказалось носилок, и Фриделя снесли в машину на одеяле.

Старуха пыталась вернуть мне деньги, я, от имени дирекции колледжа, благородно отказался. Она зарыдала, потом извлекла из разохшейся ореховой горки хохломскую шкатулку. Там лежали тусклые медали – боевые, а не юбилейные побрякушки, – и ордена Фриделя. Помолодевшая от самоуправства, она велела отнести фриделевские награды в подарок колледжу, в «Музей фронтовой славы».

Я мог возражать, сказать, что все пионеры погибли в борьбе с фашистами, что у засранцев-скаутов ни чести, ни совести – разворуют к чёртовой матери, ордена-медали... Но зачем?.. Я просто пообещал отнести шкатулку куда надо. В надёжное место.

Лично мне в наследство от Фриделя досталась общая тетрадь в девяносто шесть листов. Торжественный, погребальный почерк. Небольшое вступление и схемы фокусов-пасьянсов. Как-то: пасьянс, называвшийся «Ученик», предназначался для зрителя из породы патологических упрямец. Тотальное несоблюдение его правил и давало в итоге необходимый, запрограммированный изначально результат – то есть суть фокуса заключалась в трансформации абсолютного «нет» в абсолютное «да». В теории Фриделю удался пасьянс «Имя». Карты помещались, как буквы алфавита, и фокусник, при знании необходимого алгоритма, мог на заказ выкладывать имя или фамилию любого зрителя.

Также мне досталась брошюра, посвящённая истории отечественного цирка, в частности фокусникам. Среди прочих статей была и заметка Фриделя. Он писал о своей юности, о платонической любви к учительнице литературы и своих первых шагах на поприще фокусничества.

В этой же брошюре помещалась глава, посвящённая некоему Белашеву, умеренно блиставшему на довоенной арене. Опереточная романтическая биография. Белашев родился в конце прошлого века удачливым сиротой. Вырос с кочующим цирком. Его нянчил Поддубный. Дуров дарил забракованных зверушек. С одиннадцати до двадцати лет Белашев выступал в труппе маэстро Висконти как воздушный акробат. Гуттаперчевый мальчик, мистер Икс Саратовской и Рязанской губернии. После травмы позвоночника Белашев переквалифицировался в фокусники, в чём и преуспел. Рассказчик отмечал, что ныне этот артист незаслуженно забыт, а между тем после Белашева остался ряд фокусов, которые неплохо было бы ввести в современный репертуар. К примеру, Белашев пальцем надувал воздушные шары, умел до неправдоподобно маленьких размеров уменьшать ту или иную часть тела, стирать рукой своё лицо, так что зритель видел пустоту... Призванный в армейскую агитбригаду, Белашев погиб под Курском. Во время авиационного налёта он укрылся в танке, и в нём же и сгорел.

Коматозный, потусторонний слог статьи смутил, перевернул, растоптал мой покой, поселил мистическую тревогу. Зыбкий образ фокусника, нелепо угодившего в огненную западню, пугал и завораживал. Потрясённое воображение рисовало амфитеатр пустого цирка, колышущийся свет, бесконечный купол, арену, дышащую живой, напряжённой плотью.

К магическому столику приближается Фридель. Он одет рождественским карапузом – короткие штанишки, пиджак-смокинг. Из рукавов выбились широкие, как саваны, манжеты. Фридель с комичной обстоятельностью закупоривает маленького, беспомощного Белашева в жерло стилизованного фокуснического цилиндра.

– Але... Ап!!! – Руки Фриделя на мгновение превращаются в синие локоны пламени. Он переворачивает цилиндр, и на поверхность магического столика высыпаются дымящиеся останки фокусника Белашева.

В ночь на смерть Фриделя мне приснился одноногий мужчина. Он требовал: «Поцелуй – иначе повешусь!»

Я цинично отвечал: «Вешайся!» – Инвалид, с петлёй на шее, вскочил на табурет, раскочал его единственной ногой, отбросил. Повис и обоссался. Потом группа людей, похожих на туристов, долго и бесцельно шла вокруг бесконечного водоёма.

Напоследок приснилась порхающая женщина. Она дразнила сложенной вчетверо бумажкой, говорила, что это контракт с издательством, желающим иметь со мной дело. И до самого пробуждения я стеснительно подпрыгивал, пытаюсь выхватить эту вожденную бумажку из её цепких пальцев.

Голубь Семён Григоренко

В том, что я убью Григоренко, я не сомневался. Он давно подписал себе смертный приговор, а теперь всего-навсего пришло время привести его в исполнение. На клетчатом листке, позаимствованном из обыкновенной ученической тетради – на обложке таблица умножения, – я набросал список голубиных злодеяний. Чтобы слабоумное пернатое проявило интерес к списку, насыпал на лист свежее просо.

Я подошёл к клетке и приязненно сказал:

– Здравствуй, Семён. – Голубь, казалось, спал. – Гули, гули, гули, – я просунул лист, свернутый V-образно, промеж прутьев.

Григоренко очнулся и долго тряс помрачённой головой, пока сон не покинул его. Потом Голубь внятно выругался:

– Хули, хули... Кислбздей!

Я весь вспыхнул:

– Семён, опомнись! Что ты несёшь?!

Голубь лениво отмахнулся и посадил на просо жёлто-зелёную кляксу. Закрадывалась мысль, что он сделал это нарочно. Впрочем, подобный поступок только облегчал мою миссию с моральной стороны. Я вооружился брезгливым сарказмом:

– В этом твоя пресловутая нравственность, не так ли, Семён?

Голубь сверкнул кровавистой радужкой и выдавил ещё одну кляксу.

– Заёба! – по-разбойничьи крикнул Григоренко.

– Не смей злословить в преддверии смерти! – Я страшно, как копилку, встряхнул клетку с Голубем. – А если б здесь были женщины?

– Нет бабей – хуем бей! – испуганно кулдыкнул Семён и притих.

– Я кое-что принёс тебе, Семён. Ты не успеешь сосчитать до трёх, как... – Меня осенило. – Ты умеешь считать, Семён?

– Хуй целых, ноль десятых.

Я сделал вид, что не расслышал.

– По счёту «три» я начну рассказывать сказку...

– Не смей пизду!

– ...Которую узнал от крабовой палочки по имени Иван...

– Чтоб порвать его к хуям, – и тут вставил дурацкую ремарку Григоренко. – У хуемудря дуб зелёный, – нежно выпевая каждый слог, кривлялся Голубь, – не в хуевинку!

– Семён, Семён, – терпеливо убеждал я, – нет такого слова – «хуй», есть слово «пенис»!

Эта почти дословная цитата из бессмертного «Маленького Ганса» Антуана де Сент-Экзюпери вызвала на лице Григоренко кривенькую ухмылку.

– Засера ты, Семён. – Я приоткрыл дверцу клетки, вытащил из-под Голубя загаженный лист и вписал новое злодеяние Григоренко. – Зря ты так, я ведь мог быть полезен тебе...

– Как зуб в жопе. – Голубь всхлипнул, потёк слезами, затрясся. – Я ненавижу тебя!

Признаться, я опешил. Руки в боки:

– Это ещё почему?!

Григоренко буркнул, уставившись на собственный помёт:

– Вдул и фамилии не спросил...

Я притворился, что не понял, но я и на самом деле не понял:

– Твоя фамилия – Григоренко!

– Меня зовут Фёдор Тютчев, – прошептал Голубь, низко опустив голову.

Внутри меня всё перевернулось, и тяжёлый ком поднялся от желудка к гортани.

– Как же так, господи... вы... Фёдор, боже мой... Фёдор!.. Да... Да... «Святая ночь на небосклон взошла...» Я правильно говорю, Фёдор? – Фраза вылетела рахманиновским рояльным переливом. – Фёдор, ну почему вы молчали всё это время? Могло случиться непоправимое... Вы не принадлежите только себе, Фёдор, вы хоть понимаете?!

Голубь смущённо переступал с лапки на лапку.

– Фёдор, разрешите один вопрос, скажите: ««Целка, целка, целка, целка» – пела птичка-соловейка» – это ваши стихи?!

– Да, мои...

– Фантастика! – заорал я диким горлом. – Фёдор, если удобно, если не покажется бестактным...

– Валяй, не менжуйся!

– Фёдор... У вас была... нянюшка?! Как у Пушкина?

Голубь хмыкнул:

– Была, а что?

– Фёдор, – взвыл я, трепеща, – что вам обычно говорила нянюшка перед сном?!

Голубь изумился:

– Как что говорила? То же, что и всем: «Не ковыряй, – говорила, – Феденька, в ушах над тарелкой».

– Понимаю, – кивнул я, и руки мои сложились замком на груди, и дыхание перехватило. – Это всё, что она говорила?

– Всё...

Перед глазами качнулась морская рябь, сердце пронзила тревожная тоска, колени похолодели, поплыли наискосок прозрачные кисельные червячки-куколки. Изображение покрылось густой паутиной трещин. Я почти лишился чувств и, падая, лбом разбил изображение, рассыпавшееся, как кубики льда.

В клетке сидел Голубь Семён Григоренко и издевательски напевал:

– Мудушки-мудушки, мудушки да мудушки... Пиздося, – ласково сказал Голубь, – Дуняшка!

Я прижал пальцы к вискам.

– Семён, старый плут, я почти поверил, что ты – Фёдор Тютчев. Это было так необычно, так... хрустально! А ты разбил мои иллюзии...

Я глянул на часы:

– Время, Семён, время умирать, – и распахнул дверцу клетки. – Щипаться будешь? Я имею в виду, мне перчатки надевать – или умрёшь, как мужик?

Голубь не шевелился. Я слегка поддел его.

– Ну что же ты, Семён... Бздо?

– Сам бздо... – еле слышно отозвался Голубь.

– Вот и умничка, – похвалил я Григоренко, вытаскивая его из клетки.

– Неужели конец? – прошептал, подрагивая веками.

– Конец-пердунец, – подтвердил я.

У Григоренко сдали нервы вместе с кишечником.

– Повбзднулось, Семён?! Ничего, я после с мылом...

Я пристроил Голубя так, чтоб его шея легла на бильярдную выемку между большим и указательным пальцами.

– Ты на пороге вечности, Семён, – сказал я жестяным голосом.

– А что там, за порогом? – спросил он с робкой надеждой.

– Не знаю, Семён. Может, ебля с пляской, может – ничего... У тебя последнее слово.

Он покачал головой:

– Хуета хует...

И я свернул шею Голубю Семёну Григоренко.

Фобия

Бежал, миленький, бежал и думал, что скоро стемнеет, что фонари – не одуванчики, проводá похожи на струны: такие же серебристые и гудящие.

А проводá были тусклые, тишина стояла ватная. С ума сойти! В лужах тоже есть вода! Хочешь – пей, хочешь – плавай. Оттолкнусь ногами и заскольжу по течению, вдоль тротуара, вместе со щепками и прошлогодними листьями.

Существуют механические часы, электронные, кварцевые, а живём-то, братцы, по минутам!

На жуткой высоте парит птица, не сдвигается с места, точно приклеилась. Она библейских размеров. Сколько помёта в такой особи? Никто не знает.

Хорошо быть близоруким – взгляд импрессиониста на острые силуэты далёких зданий, сквозь которые уже прорезается розовый закат, нежный и подрагивающий, как полное вымя. Вечерняя погода лирична. Это учительница словесности вышла под ручку с двумя сыночками, Климом и Максом.

Листва бешено аплодирует каламбуру!

Я пиит, я срифмовал «ласточка» и «задница», «онанизм» и «ничего общего с ним». Я уничтожаю собой время. Можно предположить, что мне позвонила давняя знакомая. Я бегу к ней, хочу стать предком, сигать через костёр, совокупляться на траве.

Старая дорога, глухой сквер. Гнездятся на жиденьком солнце пенсионеры. Они дремлют, впившись жёлтыми лапками в колени, морщинистые веки не дрожат, и кажется, будто в их черепках вместо глаз – грецкие орехи.

Толстая девка с верблюжьим бюстом желает знакомиться. Курит страстно и зубы скалит. Вокруг клубнеобразного носа вьётся губительный дым. Создаётся впечатление, что внутри девки что-то подгорело. Ненавижу скамеечные романы! «Любите ли ебаться?» – «Отчего ж не любить. Люблю».

Скотство! Девка кричит, и слова выскакивают из её горла, как эмаль раскалённой кастрюли:

– Он сказал, что у меня чудная писечка!

Мне всё равно.

– Он сказал, что у меня шикарные сисечки!

Лопаста пропеллера. Дура, мне всё равно. Я не ревнивый.

– Ревнивый, ревнивый, – бубнит моя мама. – Совсем застращал барышню. А ты тоже хороша, милая, нашла кого бояться! Он у нас смирный. Я тебе всё про него расскажу...

Я шепчу:

– Мама, не надо, не говори...

– Расскажу, блядь, и точка! – хрясть мокрым полотенцем сына по глазынькам. А потом к девке обращается сладко: – Слушай, голубушка, – и зашла от волнения, схаркнула мокроту, – завёрнутый в пелёнки, прел младенец Алексей! – выдохнула. – Ну вот и рассказала. Дожила, слава тебе, господи, – мама трёт закисшие глаза. – Теперь и умереть можно, – но не умирает, а наливаются жизненными соками, похохатывает: – Ты смотри – писечка?! Ну не прелесть разве?!

– Папа, хоть ты заступись!

Папа лапти плетёт:

– Держи фасон. Говна не держим-с!

Девка хозяйничает. Толстой, трясушейся от жира, могучей рукой выдёргивает испорченный унитаз и молниеносно привинчивает новый. Родители, взявшись за руки, хороводят, хлопают и топают:

– За такой да за такой, как за каменной стеной!

Она груба и неопрятна. У неё реденькие колючие усищи, волосы торчат из ноздрей, как бивни у мамонта. Она унижает моё достоинство контролем поедаемой пищи, считает куски сахара к чаю. Изменяет мне с кем попало, а я уменьшаюсь, лысею, ношу грузные очки и гадкие шлёпающие тапки. Летом хожу в сандалиях на босу ногу. Звенят застёжки, летят врассыпную кузнечики и лягушки.

Млею в очереди за кефиром, нахожусь в самом её конце на улице – и вижу сквозь трёхметровые стёкла гастронома суетящихся, как рыбки в аквариуме, пёстрых старушек.

– У-у, – грожу патриаршим кулаком. – Накликали дождь!

По стеклу торопливо бегут похожие на сперматозоиды капельки с вертлявыми водяными хвостиками.

Я куплю пакет кефира и половинку серого хлеба. От полезной желудку пищи меня лечебно пучит. Я с отвращением догадываюсь, какие все гадкие, пердящие...

– До тебя Максим пришёл!

Наглухо застёгнут в штормовку с капюшоном, отчего удивительно смахивает на пенис. Нашёл распечатанную коробку с вермишелью, вытащил горстку, разбросал по столу, выбрал самую, на его взгляд, удачную соломинку и изучает на свет.

Я спрашиваю:

– Чего высматриваешь?

– Ищу дырочку.

– Дырки в макаронах, а это – вермишель!

– Если хорошо присмотреться, во всём можно найти дырочку.

Вот почему я так давно замечаю в далёком доме одно окно. Там, на шестом этаже, я тихохонько толкну дверь, и она откроется. Комнатка тёплая, кухонька уютная, маленькая. Уж я приберу её, обустрою, норку мою! Сделаю ставенки, люстру из стекларуса, навывшиваю цветами коврики, дорожки, на веревочках развешу колбаску, вяленую рыбку, грибочки сушёные, ягодки – и заживу на всю зиму. Любимая моя! А она грустная:

– Завтра в меня девок наведёшь...

– Да что ты мелешь! Как язык повернулся!

Мама изумлённо хлещет себя руками по ляжкам:

– Ну! Куда забрался, пострел? Под юбку?! Срам-то какой, господи... Тю! Кто ж в пизду-то прячется? А ну, вылазь!

Я испуганно реву:

– Не вылезу!

Так и покатались со смеху. Оконфуженную вконец девку усаживают в гинекологическое кресло. Я упираюсь, как гнутый гвоздь. Я весь дрожу. Сколькими кровавыми руками мама принимает меня на клеёнчатый передник, попыхивая сквозь жжёные усы фельдшерской папироской.

– Ну, чего испужался, глупый? Не надо. Пизды пужаться. Не надо...

Почему не удавили детской шапочкой...

1

Почему не удавили детской шапочкой, почему не вытянули тонкую, в пушистых иглах, нить, не накинули петельку на бледное горлышко? Мама дорогая, я родился с такими трудностями, что доктора в один голос сказали: «Ебанутым будет!»

Меня тащили, как сорняк, и щипцы с акульным лязгом соскакивали с младенческой головки. Я родился переносенным и желтушным, страдал круглосуточным энурезом. Семья – то конфликтная, неблагополучная – вот и сдали в ясли. Всё, что помню, – так это няньку, Оксаной звали. О ней скажу, английски мысля: я хотел иметь её ноги, отрезанными, у себя в шкафу. Чтобы играть.

Вы даже не представляете, как хорошо можно играть отрезанными ногами, я бы всю ночь играл отрезанными ногами. Ведь ни братика, ни сестрички – всё детство в одиночестве.

И не было никакого энуреза! Ложь, какая ложь! Провокация! Жидовская собака Эмма, спаниель! Она пару раз нассала в мою кроватку, а родители, умники херовы, нет чтоб обследовать сынишку, говорят:

– Раз обсыкается – так мы его в ясли, пусть и другие с ним помучаются!

Я вот что думаю: не Эмма – они сами бы мне в постель нассали. Меня только бабушка и любила. Мы целое лето проводили вместе – и в церковь ходили, и на кладбище. Бабушка непременно останавливалась возле детских могил и читала вслух имя похороненного ребёнка:

– Анечка Мельниченко... десять годиков прожила...

Я, задыхаясь, сжимал бабушкину ладонь и лихорадочно бормотал:

– Покажи, покажи про Анечку.

Лицедействуя, бабушка преображалась, говорила на два голоса: душным басом и слабеньким писком:

– Вышла вот однажды Анечка погулять без спросу, зашла в незнакомый двор и в яму глубокую упала. Заплакала Анечка, стала маму звать, а земля в яму сыплется. Засыпало Анечке ножки по коленки.

Бабушка тоненько причитала Анечкиным голоском, и сердце моё бралось сладкой изморозью, и в животе шелестело и смеялось.

– Проходит мимо ямы дяденька, заглянул туда и спрашивает: «А что ты, Анечка, здесь делаешь?» – «Я из дома без спросу ушла, в яму упала, помогите, дяденька миленький!» – «Не буду я помогать тебе, Анечка, ты не слушалась мамочку!» – и ушёл дяденька. А земля-то сыплется, по пояс засыпало Анечку. Тут проходит мимо тётька: «Что ты, Анечка, в яме делаешь?» А Анечка плачет: «Я из дома без спросу ушла и упала в яму». А тётька как рассердится: «Раз ты такая непослушная девочка, пусть тебя совсем землёй засыплет!» И засыпало землёй Анечке глазки, ротик, носик, ушки. Умерла Анечка.

К концу бабушкиного спектакля я был совершенно невменяемый, потный, трепещущий. Помню стихи, что читал на могильных плитах. Моя хрестоматия.

Ветка тихо шелестит.
Наша дочка крепко спит.
Но не вечно наше горе,
Подожди – придём мы вскоре.

Или вот несказанный плач по Илюше Гарцу:

К твоей безвременной могиле
Моя тропа не зарастёт.
Сыночек мой, твой образ милый
Всегда сюда меня зовёт.

Пошёл Илюша на речку купаться. Я изображал тонущего мальчика, заклинающего смерть-бабушку о жизни. Смерть неумолима, как бабушка.

Когда она умерла, я зажил тревожно и мнительно, всё плакал и хворал, точно что-то тлело во мне. Однажды сквозь зыбкую дрему я услышал затаённый стук в окошко, открыл глаза и увидел прильнувшее к стеклу лунное бабушкино лицо. Я вытянул к ней во всю длину руки, и бабушка оказалась рядом.

– Что ж ты не спишь, чего плачешь, внучек?

Я возбуждённо исцеловал её пахнущие землей и грибами босые венозные ноги:

– Бабушка, покажи про меня, сил нет!

Бабушка смешно, как маятник, качала головой. Из кармана своего загробного халата она вытащила комочек глины, ловко скатала пальцами две пуговички и положила на мои бессонные глаза:

– Угомон на правый бочок... угомон на левый бочок, чтоб не плакал мой внучок, – и я, послушный, как Илюша Гарц, заснул, и не плакал, и не болел больше.

Как мало хорошего написано о старушках, об их повадках, привязанностях, местах обитания! Во мне давно зреет нобелевский сюжетец: олигофрен в степени лёгкой дебилности привёл к себе в дом симпатичную старуху и изнасиловал. С целью сокрытия преступления он связал ей руки и принялся душить, но старуха заплакала, тогда он пожалел её и отпустил. Олигофрена звали Ромео, а старуху – Джульетта.

А я блестяще-таки учился. Я был в классе первый ученик. На уроках мог смеяться, бегать по партам, хулиганить и пакостничать – мне всё прощалось. Учителя только говорили:

– Иди лучше в коридоре погуляй, не мешай менее способным детям заниматься.

Никто так не знал ботанику и зоологию. У меня были лучшие гербарии и коллекции бабочек. Я раздобыл набор медицинских инструментов – скальпели, пилы, иглы, самостоятельно препарировал мёртвых птиц и животных, мастерил чучела, иных хоронил в прелестных гробиках. Соседского кота я зарыл в цветочном горшке. Потом эксгумировал раз двести, постигая процесс разложения. Если бы вы зашли в мою комнату, то замерли бы в научном восхищении: шикарно выполненное чучело спаниеля, скелет баклана, как живая, кобылья голова у изголовья, склянки с заморенными на спирту пернатыми и земноводными и, конечно же, книги, книги, книги...

2

Вы оглушены свежестью и богатством моего рассказа. Ждали, признайтесь, литературного курьёза – совокупился с овцой, пренебрёг пьяной шлюхой, по предложению незнакомого мужчины в сортире драчили друг другу... Какая чушь! Хочу одного, чтобы прочли вы и сказали: «Вот как хорошо! Мой кругозор расширился».

Болезненная черта моей психики – страсть к поэтизации всего сущего. Но пусть вас не смущает, что талантливый рассказчик – душевно здоровый человек.

Я дегенерат высшего порядка. По лаконичности мысли, тут уж никуда не денешься, я китаец. По концентрации тоскующе-обиженного либидо – малоросская мать-девица, обо-

лыщённая в вишнёвом садочке красавцем-москалём. Хожу, плетусь по дорогам с тяжёлым пузом, веночек на голове, и чуть что – бегу топиться.

У меня ленивые ладони, вместо сердца – спившаяся скрипка, плаксивый рот, вдовьи морщины, лицо сморщенное, как изюм. Путь мой неведом, я бреду дальше чем нахуй. Передо мной избитый пыльный шлях, и мысли катятся шумнее цыган, полуголые и красивые, как Будды.

Я произошёл от страха, живу погоней за впечатлениями, за свежим ужасом попрусь в любой конец города. Я лелею мой страх, культивирую его, жёлтого.

Вообразите, было семеро мужчин, и самый главный – в мерцающих, как слёзы Господни, доспехах. Он опирался на широкий меч, заменявший ему костыль. В окрестных полях, что вокруг мшистого замка скандинавских предков, они устраивали ночные облавы на недоумков-пастушков.

В просторных каменных покоях после успешного набега богохульствовали, пидерили напропалую, вспарывали пойманным подпаскам худые животы и насиловали в зияющие раны, усаживались верхом на умирающих и похотливо елозили узловатыми чреслами по скользким от крови телам.

Тысяча бледных факелов сомкнулась в сплошное огневое кольцо вокруг мшистого замка в ночь на чёрную среду. Восемь жестоких товарищей предстали перед судом Божьим и человеческим по обвинению в ереси и убийствах. Моя публичная исповедь, глумливая, на коленях, оставила на бронзовом лице распятого божества гримасу ужаса и отвращения. Щетинистый епископ, председатель трибунала, только и мог, что вздымать толстые пальцы для крестного знамения. Я обратился к справедливому суду с просьбой о недельном молении добрых прихожан за упокой грешной души. В назначенный день нас торжественно вздёрнули на городской площади, к неумной радости вонючих крестьян, съехавшихся за сорок верст поглазеть на казнь. После повешения наши бездыханные тела предали всеочищающему огню, а пепел свалили в сточную канаву. С тех пор я всегда и везде. Это называют ложной памятью.

3

Неприкаянный я, ох неприкаянный. Мне трудно говорить, сбиваюсь на патетику. Я задыхаюсь, я смущён. Читайте эти строки через вуаль.

У меня постоянная девушка. Её зовут Анжела. С ней я беспомощный и чудовищно капризный. Она носит меня в ванную на руках, моет, как маленького, детским мылом, без мочалки, одной ладонью, вверх-вниз, между ягодиц, и говорит, сжимая в горсти:

– Ты хер когда в последний раз мыл?

Я млею от бесстыдной постановки вопроса, я розовею – какой конфуз! – и шлёпаю по воде, забрызгивая её халат.

– А потом этим хером немывтым в меня полезешь. – Анжела кутает меня махровым полотенцем и вынимает из ванны, я болтаю ногами и делаю всё, чтобы она меня уронила. – Не вертись! Ну, кто-нибудь ещё возился так с тобой, дурачок?

Ташка! Ташенька! Я скучаю по тебе, блядь моя солнечная.

Я помнил всех её любовников, помнил лучше, чем она, знал их поимённо, имел представление об анатомических особенностях их пенисов, ночами сходил с ума и в слезливой немощи грыз худенькую свою подушечку, дошёл до полного маразма и завёл что-то вроде двух колод карт. Первую, объёмистую, пригодную для игры в покер, составляли Ташкины мужики. Вторую, тощенькую, составляли мои женщины – я «бился» ими, карт катастрофически не хватало. Я не считал минет за полноценный половой акт, но тогда – «подержалась за член» я относил

к упрощённому соитию, заводил новую карту, случал и получившуюся парочку откладывал в отбой.

Я сбежал от неё в ноябре, когда гинеколог, брезгливый и быстрый, шарил, как вор, между ног моей душеньки, вычищая нашу совместную оплошность. Через месяц я затосковал и решил воротиться. Но меня забыли – она успела снюхаться с другим. Меня поставили в известность:

– У него, в отличие от тебя, всегда под рукой гондоны.

– Гондоны, – умилился я.

– Он таксист. Представь, полный бардачок гондонов.

Полный бардачок... Невесомыми пальцами коснулся её плеча, но услышал лошадиное фырканье:

– Я спешу! – и потрусил, покачивая жопой, как авоськой.

Чутьём хирурга я уловил: ещё мгновение – и потеряю. Я предпочел не слушать чушь: «подлец» и «руки уברי». Опыт подсказывал, что женщине не нужно затыкать рот. Достаточно заткнуть пизду. В сущности, изнасилование – это тот же самый половой акт, с той разницей, что первые минуты женщина не очень хочет.

Бесчувственная! В разлуке я сошёлся с гордой мудаковатой женщиной Ульяной. Она иногда приходила ко мне по утрам, и на кухне по-семейному гремели кастрюли, яичница взрывалась на сковородке, как порох.

Недавно встретились в метро: плащик, платочек, похожа на козочку. Я сказал:

– Ульяна, я жрать хочу, – и подумал, что, как ни скажи, а звучит хреново: Ульяна, Уля, Яна, Ляна...

Пригласила домой, поставила на стол жестянку со шпротами и думала, что расщедрилась. Я, как пеликан, заглотнул рыбку-другую, от жадности подавился, звонко раскашлялся, расплевал жирные шпроты по всей кухне.

– Ничего страшного, зайчик, не смущайся, – сказала эта дура, – всё естественное прекрасно, – и как бы между делом прибрала жестянку в холодильник. Дескать, вырыгал я свою порцию. Больше не положено.

Вот ей-богу, найду общественный сортир и на сахарной от свежей побелки стене напишу разборчиво, печатными буквами: «Я выебал куда хотел Ульяну Савченко, верную жену и заботливую мать», – и подпишусь, а лег через тридцать престарелый, но ревнивый Савченко ненароком забредёт в тот сортир, прочтёт надпись да и пристрелит меня из дробовика. Но раньше я напишу правду обо всех замужних стервах. Поджимайте хвостики, сучки! Иду в сортир. Разоблачать!

А пойду-ка я лучше на заседание к христианам, возьму самую красивую христианку и начну подминать под себя на глазах у паствы. Какой-нибудь юноша, истово верующий, ткнёт мне в мошонку чугунным распятем, но я, не потеряв самообладания, скажу, что сила в силе, а не в слабости, и все смазливые девки-христианки соблазнятся мной, и в течение многих лет мне будет кому позвонить, а не состоять в звании почётного поллюционера.

Неудачи стали преследовать меня даже в эротических снах. Бабы из грёз моих, некрасивые и вульгарные, ведут себя отвратительно, не даются до самого последнего момента, я кончаю, не успев овладеть строптивой дрянью, просыпаюсь с бешено колотящимся сердцем и раздавленной в сперму мечтой.

В реальной жизни девки меня боятся, я их здорово подавляю. Мне всегда казалось, что пока я смотрю женщине в глаза, могу делать с ней всё, что захочу. Теперь это не всегда получается. Как правило, никогда.

Официально заявляю: девственницы – мировое зло. По моему глубокому убеждению, младенцев женского пола сразу же после рождения надо лишать плевры хирургическим путём. Скальпель хирурга спасёт мир. Девственность как идеологический фетиш должна прекратить существование. Я полгода транжирил обморочные поцелуи на склочную девственницу с тельцем канарейки. Не уступая мольбам, она мочилась на персидские ковры моей души, и хитрые реснички дрожали, как крылышки осы. Я плакал по ночам, целуя собственные плечи и запястья, гладил стонущими пальцами бёдра, шепча наивные слова любви самому себе.

Впрочем, моя внешность подталкивает даже самых отпетых шлюх к порядочности и половой бдительности. Иногда я чувствую, что на мне зарабатываются местечки в Раю.

4

Оправившись, стараемся подтереться так, чтоб не испачкать большого пальца, черепашины втягиваем его, поджимаем, сознавая – надо бы без сердца, с холодным умом, иначе указательным бумагу насквозь, – вечно экономим, а надо бы в три слоя. А после с тревогой принохиваемся, тщательно моем руки, опять принохиваемся – приучены с детства. Потом за туалетный освежитель: примешать к запаху дерьма нежный цитрусовый запах. Дерьмо с цитрусом.

Сквозь небесное сито лезут солнечные пальцы. Что за шёлковое затишьё вокруг, и сердце не бредит бедой... В борще пластинки разваренного лука, точно туда остригли ногти. В левую руку, как отрубленную голову, государственное яйцо с розовым штампом, в правую – ножик. Резко надсекаем яичко, и оно улыбается широко. Но, взяв улыбку за края, вываливаем содержимое на сковородку. Шипи, шипи, досмеялось, горюшко!

В медовой безмятежности сквозь стены приходят посторонние образы, их инородность чарует: верещит младенец – не покормили, у юной матери перегорело молоко, она безуспешно цедится, цедится, мнёт разжёванные соски и возбуждается. Я, симпатичный, гладенький, завернувшись в свежую, только из прачечной простыню, разглядываю собственный член, торчащий, как мухомор, из накрахмаленных складок.

Выйду на улицу, куплю рыдающие гладиолусы – и давай поджидать самую некрасивую, в дутой куртке, с серым шарфиком. С такой лучше всего. Каждую ночь перед сном говорит:

– Как ты можешь любить меня, такую некрасивую, – а глазёнки счастливые, рыбы, так и горят.

Но я уже не прошу женской привязанности. Пусть это будут запорожские казаки, мифические великаны с медными спинами. Они защитят меня от блевотного мира, нарекут Стебельком, или Соколиком, или как-нибудь ещё ласково, с ними я воспряну, стану носить нож в крепком кожаном сапоге, смеяться с грохотом днепровских порогов, накручивая на палец ус, широкий, как лист папоротника.

На дворе вечер майской Победы, тлеющий уголёк народной гордости в огненных потрохах фейерверка. Хоть вы, ветераны, примите меня! Быть может, сжалится седой орденосец, зазовёт домой. Меня напоят липовым чаем, покажут вылинявшие снимки сгинувших фронтовых товарищей, и я, угодливый внучек, с душой затаю балладу о синем платочке, и расчувствовавшийся дед подарит мне припрятанный с войны парабеллум.

Сеня – бывший фронтовик, кавалер ордена Красного Знамени. Сеня – эротическая ностальгия по моему отрочеству, сон издалека. Сытые летние вечера, бледная шпана из окрестных многоэтажек, одна на всех бутылка портвейна «Таврида», кто-нибудь лукаво предлагает:

– Может, к Сене завернём, – и остальные, смущаясь и хихикая, соглашаются, что да, действительно, иного выхода нет.

Толпа снималась со скамеек и шла в гости к Сене. Старик радовался немислимо, поил ораву чаем или компотом, а после у всех желающих отсасывал.

5

А вот кто мне нравится, так это Гизлер. На днях заявился и над чашкой чая вспоминал, как бабушку хоронили:

– Даёт мне папа два червонца для шофёра, я думаю – одним обойдётся. Шофёр ни слова не сказал, но поджал губы. – Гизлер уморительно показал, как шофёр поджал губы. – Поехали в крематорий, и все ямки на дороге были наши. На самой глубокой ямке бабушка выскочила из гроба, и её ловили по всему автобусу!

Я смеялся до икоты. Гизлер по-доброму шурил глаза и, как и всякий рассказчик, чувствующий, что анекдот удался, на «бис» повторял с различными фиоритурами:

– Колесо в ямку, бабка из гроба. И поскакала, и поскакала. Мама кричит: «Лови-и-и бабушку!» – И смущённо хохотал, лучисто морща лоб.

Гизлер принципиально одинок, но страстен. «Дай, – говорит, – бог денег. Тогда познакомлюсь с девушкой, приглашу в кафе, угощу шампанским, заговорю, свожу в парк, задущу и буду трахать, трахать, трахать!»

6

Прочь, прочь! Мартовское возбуждение-наваждение. Что-то необыкновенно скверное, злое.

Если я хочу охарактеризовать женщину, я говорю: «Она уродлива, как Рябунова!»

Верьте мне! Вы не знаете Рябунову, но я-то знаю! Я расскажу о ней чуть позже, а пока скажу другое. Все собачники – копрофилы! Приглядитесь повнимательней. Как жадно пялятся они на собачий кал. Вид испражняющегося питомца взрывает канатные жилы на их висках: какой на этот раз? Цвета вяленой дыни или пористый, с зеленцой? Больные, настороженные люди.

А теперь, умоляю, о Рябуновой: рост метр шестьдесят, волосы – прелая солома, разваренные родимопятные уши, лоб скособоченный, маленький, в морщинах, два шрама – на виске и подбородке, брови – медвежьих лап объятия, глаза дистиллированные, нос сам по себе, кончик носа тоже сам по себе, скулы – широкие, якутские, она мордастенькая, эта Рябунова, рот кривой, зубы пломбированные, шея в чирьях, грудь – как мошонка, живот – гряда барханов, пятки – раздавленные персики. Боже, боже, боже! И не я ли в сумрачном детстве видел дворовую бабу, вправлявшую себе выпавшую матку? Её руки были в крови. Вагина искусила их не хуже бультерьера.

Ведь согласитесь, в женских половых органах есть нечто омерзительное, требующее наказания. Это – помойная яма, прорва, чёрная дыра. Звучит почти что как *please* и «да» – вкрадчивая просьба, приглашение, мол, пожалуйста, мистер, вот рёбрышко, вот ляжка, а вот ещё кусочек мяска, вы изумлённо переспрашиваете: «Неужели эта пакость для меня?» – и слышите в ответ раскатистое, брызжущее венерическими соками, на всё согласное: «Да!»

Женское начало, точнее, конец, таит в себе анархию и разруху, хаос и революции. Семантическая суть раскрывается в сочетании с предлогом «до». «Мне до пизды» – это значит: мне всё равно, мне безразлична ваша судьба, это отчуждение, презрение, высокомерие, ханжество.

«Дохуя» – отметим в первую очередь исчезновение личного местоимения как эгоистического элемента. Идиома безличностна, точнее, всеобщна, всемирна, космична. «Дохуя» – это всегда множество, приятное количество, достаток, урожай. То есть, говоря языком математики: Пизда – это минус, а Хуй – это плюс.

Хуй – предмет деликатный. «Не на помойке нашёл», – с юмором скажет хозяйственный, практичный обыватель, обёртывая член целлофаном...

Презерватив создан с мыслью об охране члена, но не влагалища. Оберегается всегда нечто более ценное, а пизда пусть бурьяном зарастёт. Вдумайтесь, чего только в ней не побывало: клизмы, лампочки, стройматериалы, бутылки, шланги, плечики для одежды, огурцы, цветные карандаши, полное собрание сочинений Достоевского и проч.

Пизда – это бессмысленная агрессия, «дать пизды» – отнюдь не миролюбивый акт мужской солидарности, полового угощения. Нет. Это горький, чёрный символ избияния себе подобного.

«Накрыться пиздой» – ничего общего с приобретением крова. Наоборот, фразеологический эквивалент термина «апокалипсис».

А вот Хуй – это Мона Лиза. Послать нахуй частенько означает отсыл к идеальному. Так молодых художников отсылают взглянуть на шедевры античности или эпохи Ренессанса. Наконец, хуем можно творить. Пример: В. Гизлер, «Этюд в багровых тонах». Простыня, хуй, менструальная кровь. 0,76 на 0,95.

Снова подвернулся Гизлер. Душенька Гизлер, мой Ги-Ги. Радость моя, муза моя, скорбь моя. Где ты сейчас, малыш, когда время истекает, жизнь истекает? Я это шкурой чувствую...

Все мужчины – герои.

Мой Ги-Ги. Обделаться можно. Ги-Ги. Охуеть.

7

В ожидании женщины я не могу заняться чем-нибудь ещё. Я только жду. Гляжу в окно, сижу у телефона, прислушиваюсь к уличным шагам. Я истязую член, как рядового. Лечь-встать. Когда появится она и, спустя лихорадочную минуту, размажет по бедру мой половой плевок: «Ты что, уже?» – я попытаюсь объяснить, что мы вдвоём с начала ожидания.

Немногим известно: телефон – от сатаны. Шесть циферок-люциферок (чем хороша провинция!). Звонок. В трубке девичий голос, кто такая – не говорит. Договорились встретиться у метро, вечером, в половине десятого. Я для порядка спросил:

– А что мы будем делать в такое время?

Она смеётся:

– Что-нибудь придумаем.

Иду к метро на встречу, не зная с кем. Жду. Кто-то дёргает меня за рукав. Я оборачиваюсь и, спустя мгновение, извиваюсь в пыли, сбитый с ног оправленным в железо кулаком. Я ещё могу подняться, но притворяюсь мёртвым.

Мне не доверяют. Серая фигура присаживается на корточки. Рука в чёрной перчатке приподнимает мою поникшую голову за подбородок.

– Сомлел, пидор? – Рука превращается в пощёчину. – Теперь говори: спасибо за ремонт.

Я цежу сквозь битый рот:

– Спасибо, только я здесь ни при чём. Я не пидор.

На них для конспирации надеты маски персонажей русских народных сказок. У зайца коротко купированы уши, лисица полностью закрашена в чёрный цвет, у медведя облупилась морда. В детстве у меня была маска волка с оторванной челюстью. Я вспоминаю, как двоюродный брат Саша, деловито раздиравший маску на части, беззаботно убеждал: «Дедушка закрашит, ничего видно не будет».

Заяц по-домашнему шепчет:

– Дитё, совсем ещё дитё...

Что делает со мной простое звериное участие... Глаза выходят из берегов, я шумно дышу сквозь слипшиеся ноздри и рыдаю. У меня горячие и пористые щёки, и в каждой поре успела высохнуть слезинка.

Медведь, спекулируя отцовскими интонациями на вытянутых в трубочку губах, вздыхает:

– Ну кто ж дитё так ногами хуячит, а?! – Он дует мне в лицо. – Цюньчик-то хоть цел? – и прыскает жидким смехом.

Моя тряпичная душа не жаждет романтической гибели.

Дивная космогоническая сцена на рынке. Маленький истёртый алкашик говорит бульдожьего вида мяснику:

– Тебе Вова привет передавал...

– Рот закрой, падла, – отвечает огромный, в фартуке, мясник. Чавкает топор, врезаясь в тушу. Мясо брызжет во все стороны. На щеке алкашика повисает розовый, как пиявка, говяжий червячок.

8

Что же вы за люди такие?! Да вы замучили меня своим: «В тот день он выбрался на улицу с мыслью кого-нибудь убить. В рюкзаке у него были топор и нож. Навстречу женщина, топором её по голове, труп в кусты. Отрезал груди и давай жрать – в каждой руке по арбузному ломтю, попеременно откусывает от каждого – хорошо!.. Но они, груди, жирные! «Сплюнь, сплюнь немедленно!» Выплюнул! А во влагалище ветку засунул».

Совсем не так. Мужчина в старом драповом пальто и облезлой ушанке. На вид – взрослый, а лицо – детское, в редкой щетине. Я, семилетний, иду и монетками в варежке звеню. Он за мной как увязался, а я, строго-настрого предупреждённый, побежал... Куда?! От себя не убежишь.

9

Истинно говорю: мир катится к концу. Митрополит обрёл дар речи и произнёс по радио имя Божье в извращённой форме. В трамвай 12-го маршрута ввалился неопрятный клочкобородый старик с хозяйственной сумкой, прихваченной с боков изоляционной лентой, и вызвал жалость. Старику предложили почётное сиденье под компостером, но он отказался зловещими словами:

– Это место покойника.

Трамвай причалил к остановке, и не успел приятнейший мужчина с тубусом под мышкой присесть на злополучное кресло, как захрипел, ухватился за нагрудный карман, потом посинел и затих, выронив тубус. Все, кто стояли возле, отшатнулись, но одна прозорливая баба бросилась старику в ноги:

– Скажи, что ждёт!

И тот, не задумываясь, предрёк:

– Зима будет снежная, а весна – кровавая, – и вышел, грохоча бутылками.

По вагону прокатилось:

– Николай Угодник...

Очевидцы рассказывали, как на шестом этаже дома № 3 по улице Коржановской, на сияющем свежим цинком подоконнике стоял юноша в белых тряпках вокруг бёдер и звонко возвещал:

– Я забираю мой космос с собой!

Сердобольная толпа уговаривала в одно горло:

– Кому он нахер нужен, космос твой! Оставляй себе и слезай, сорвёшься, неровен час!

Юноша, с нарастающим звоном, в котором слились вызов с угрозой, возвестил вторично:

– Я забираю мой космос с собой! – лягнул пяткой кровельный лист, стрельнувший, как пистон. Юноша сдёрнул тряпки и показался толпе полностью обнажённым.

Народ так и ахнул:

– У мыша яйца больше!

Страшно закричал юноша, изо рта его вылетели кинжальные языки синего пламени, он притопнул, взмыл в воздух и штопором ввинтился в мутно-бирюзовую бездну небес.

10

Выбрался к морю, и солнце, воздух и вода в три дня сделали из меня кромешного уroda. Обгорел, облез. Волосы сваялись и закурчавились, желваки под глазами налились плодовой тяжестью. Вдобавок я обильно покрылся ватрушкообразными прыщами: розовый пухлый шанкр, величиной с крупную горошину, в середине ссохшаяся сукровица.

Поначалу меня даже принимали за местного наркомана, и не особо чванливые приезжие добродушно расспрашивали, почём в посёлке анаша и где самый дешёвый портвейн. А потом я вовсе загнил, и люди избегали обращаться ко мне за советами.

Я пытался противиться заразе, покупал щадящие кишечник ананасовые йогурты, но паршивел и шелушился. На теле проявились экземоподобные разводы и зудящие наросты.

Аптекарьша, не поднимая головы, выудила откуда-то снизу «Трихопол» и презрительно швырнула на прилавок. Я прямо-таки сник от обиды и пояснил:

– Это что-то вроде грибка. Мне нужна какая-нибудь протирка на спирту или эмульсия, – и сунул ей под нос узорчатую, как удав, руку.

Аптекарьша брезгливо отпрянула.

– Протирка тут не поможет. – Она умно скривилась и надела очки в толстой оправе. – Вам, молодой человек, к врачу надо. Может, у вас инфекция в крови. . .

– Псориаз?! – гадливо охнул я.

– Похоже на псориаз. Или хуже. . . К врачу! В Алушту!

На улице ко мне подошёл развязный испитой мужик, похожий на ведущего «Клуба кинопутешественников» Юрия Сенкевича. Он сказал сундучным голосом:

– Когда я пацаном работал в далёком северном порту Ванино, в механическом цеху случилось несчастье. Женщина попала волосами в токарный станок, и ей сломало шею.

– А у меня, – я пальцем потыкал в свои болячки, – горе. Что делать – не знаю. Подохну скоро! – задорно так сказал.

«Сенкевич» поплюнул ноготь и скovyрнул с моего плечевого прыща подсохшую гнойную накипь.

– Ты знаешь, что такое урина?

– Урина – это моча. . .

– Ты простудил кожу. – «Сенкевич» назидательно напряг указательный палец. – Когда заходишь в сортир, чем пахнет? Пахнет так, что глаза дерёт? Это аммиак. Думаешь, хирурги перед операцией дезинфицируют руки спиртом?

Я молчал, раздавленный невежеством.

– Знаешь, что такое – родная урина?

– Урина – это моча.

– Она всё может, родная урина.

Так я стал каждое утро обливаться золотистой мочой. Солнце выпаривало её до кристаллов, и я сверкал, как соляной столб. Соседи потаённо вздыхали. Я подслушал их глухие голоса:

– Мальчик нездоров. Стульчак бы надо обрабатывать после него. Хлорной известью.

Я перестал оправляться в нашем уютном фанерном сортирчике. Таясь, я поднимался чуть свет и уходил в далёкие камыши лимана, срал там, осторожный, как степной байбак, потом брёл на дикий пляж, подальше от пансионатов и пионерских лагерей.

Я бросался в море и уплывал на одинокий утес, чтоб в уединении праздновать закат моего тела. В шторм вокруг утеса всегда бились тяжёлые волны. Неудобный сам по себе, ребристый, скользкий утёс постоянно захлёстывало, и поверхность камня украшалась размозжёнными медузами и скальпами водорослей. На нём я холил, жалел своё больное тело, скоблил жёсткой мочалкой, ссал в пригоршню, обливался, обсыхал – и опять тёрся мочалкой.

От скуки я вылавливал быстрых крабиков, целовал им клешенки, крабики щипались, и я раскусывал их пополам. Когда на скрипучих, с рыжими полозьями, катамаранах проплывали счастливые семьи, я распластывался на камне, сжимался, как анус, и с ненавистью бормотал:

– Прокажённый, прокажённый!

Я жил на камне весь день, питаюсь сырыми злаками и похищенными фруктами. Если становилось невыносимо жарко, я сползал в широкую расщелину у воды. Каменный выступ защищал меня от прямых солнечных лучей, я лежал не шевелясь, разглядывая свои длинные белые ноги, ранящие сходством с дохлыми рыбинами.

Но вечер густел, напиваясь ночью, и я выплывал на берег. Я подбирался к сумасшедшим огням дискотек и, хоронясь в тени треугольных кипарисов, созерцал танцующее людство, пахнущее дымом, сосисками, алкоголем, молоками. Я вгрызался глазами в каждую танцующую пару, вбирал их запах, примерял их чистые тела. Недобрым пастухом, завистливым, наблюдал я вверенное мне стадо, пас до последнего аккорда, а после, в тишине, уходил на ночлег в свою конурку и спал там до рассвета чутким собачьим сном.

Однажды ранним утром с моего утёса я увидел бредущую по берегу пару: тощий брюнет и блондинка. Они, бедняжки, шептались вполголоса, а я слышал каждое слово. Тощего звали Глеб, безмянная блондинка называла его так. Они шли в бухту Любви. На крымском побережье много таких бухт. Собственно говоря, так называют все труднодоступные местечки, куда можно попасть только вплавь или по крутой, в ладонь шириной, тропинке.

Любовники заметили меня, стоящего на камне, но не придали значения моему существованию. Я был для них заурядной деталью ландшафта: «Когда бы вы ни вышли к морю, всегда на камне будет этот странный йог-полудурок».

Последний шторм, как ловкий шулер, перетасовал водяные пласты, и вместо тёплой, как суп, воды, пришла ледяная зелень из самых глубин. В такой воде не купались даже дети. Только я, презирающий донельзя собственную плоть, плыл к моему убежищу.

Они решили пробираться в бухту по тропинке. У Глеба под худой спиной просвечивали рёбра, блондинка шла, гримасничая ягодицами. Мой взгляд упал на них и задержался, но тут же был пережёван, растёрт безжалостными, точно жернова, словами, которые шептали ягодицы.

Я привычно напоил мочалку, обтёрся и озяб, с отвращением глянул в мутно-промоглый омут, куда мне предстояло прыгнуть через мгновение. Ледяная вода будто содрала кожу. Со мной чуть не случился приступ удушья, но я не позволил себе утонуть.

Глеб и блондинка осторожно карабкались от глаз подальше. Я полз за ними по обрывистой стене, проворный, как таракан.

Парочка сидела на одеяле, придавленном в четырёх углах похожими на голые черепа камнями. Огромный кулёк с продуктами щёлкал на ветру. Любовники уже подняли весёлую возню, и тут, с отвесной стороны, явился незнакомец отвратительного вида, сухой и жилистый, в кровавых язвах. Он, не проронив ни слова, уселся ждать.

Уныло переглядываясь, любовники доели фрукты, свернули одеяло. Незнакомец встал во весь свой, как оказалось, исполинский рост и закружился в стремительном туземном танце. Извиваясь червивым телом, он плясал, и страшная тишина, что сопутствовала танцу, прибли-

жала чувствительных любовников к обмороку. Им было бы достаточно выразительно воскликнуть: «П-шёл вон, гнильё!» – и облезлый тиран сгинул бы и разложился в прах.

Сердце уroda грохотало первобытным тамтамом. Сердца любовников мелко стучали, как скальная осыпь. Урод стянул плавки. Затравленным их лицам предстал жабьего цвета треугольник с чёрным гнездом, и из гнезда морщинистое горло.

Глеб вскочил на ноги, и раскаяние чёрным флёром упало на его лицо. Он пятился, осторожно переставляя ноги, пока не сделал шаг в пустоту. Потом был крик. Тощий Глеб падал на острые камни, торчащие из воды, как обломки гигантской вставной челюсти.

Я спал около суток и проснулся совершенно исцелённым. Ни прыщика, ни пятнышка. Гладенький, как античная статуэтка. А когда вымыл голову, стал такая лапочка, что жена моего хозяина вздохнула мне вслед:

– Господи, и хорошенький же какой... Прямо – артистка, и всё тут!

На пляже мне довелось быть свидетелем отвратительной сцены: компания подростков морально истязала взрослого юношу Борю. Особенно усердствовал один, именовавший себя Иннокентием. Жестокие играли в волейбол, и Боря, толстый, застенчивый и прекрасный, в лёгких сандалиях, пытался втиснуться в их круг, топтался в песке, руками призывая мяч, покрикивал, шутил. Но Иннокентий, а вслед за ним другие, злословили сперва иносказательно, потом открыто, и вся эта картина была настолько невыносима, что я отправился домой с осадком в сердце.

Капля

Александра Геннадьевна Тахтырова принимала ванну и плевала в потолок, а Серафим Дмитриевич Тахтыров пытался ворваться к ней под различными шутивными предложениями. Александра Геннадьевна всё никак не могла доплюнуть до потолка, но заплевала и забрызгала водой кафельный пол и стены, так как во время плевания сильно подавалась телом вперёд, а потом опять падала в воду. Она вся разнервничалась, но не оставляла это занятие, так как дала себе слово не вылезать из ванны, пока не достигнет желаемого.

Тем временем Серафим Дмитриевич, после бесполезных сюсюкающих просьб, перешёл к угрозам и ругательствам, но Александра Геннадьевна не слышала его требовательных криков из-за плеска воды. Наконец, стремительно изогнувшись всем телом, Александра Геннадьевна с силой выдохнула воздух, и её слюна прилипла к потолку.

А в это время Серафим Дмитриевич, после изнурительных ударов с разбегу о дверь, выбил её и ворвался в ванную, но поскользнулся на каком-то плевке и упал, ударившись головой.

Александра Геннадьевна выволокла его и усадила на стул, а сама села ему на колени и стала так неприлично заигрывать, что Серафим Дмитриевич рассвирепел и даже решился поднять на неё руку. Александра Геннадьевна мгновенно уловила это и, слетев с колен мужа, молниеносно закатилась под кровать, а рука Серафима Дмитриевича, не найдя рожи Александры Геннадьевны, со всего размаху ударилась об пол, и Серафим Дмитриевич выбил себе два пальца.

Первую минуту, ошалеv от боли, Тахтыров сидел смирно, а потом кинулся охлаждать распухшие пальцы. Для снятия нервного стресса он решил полежать в прохладной воде и, выпустив грязную, лёг в пустую ванну, чтобы свежая вода постепенно омывала его тело.

Серафим Дмитриевич был невысокого роста и потому настолько хорошо умещался на дне ванны, что его можно было в ней хоронить. Когда вода поднялась ему до подбородка, он захотел изменить своё положение, но, как говорится, не тут-то было – он застрял и не мог пошевелить ни головой, ни ногами.

Серафим Дмитриевич здорово перепугался, так как понял, что обречён на постепенное утопление. Он принялся жалостно звать Александру Геннадьевну, чтобы она его освободила, но та, зная подлый характер Тахтырова, преспокойно лежала под кроватью и не высывалась.

Прибывавшая вода залила Серафиму Дмитриевичу рот, и он лишился возможности кричать. Когда он совсем отчаялся, струя в кране внезапно выдохлась и оборвалась. Серафим Дмитриевич лежал, боясь шевельнуться, чтоб ему не натекло в нос, ожидая, когда кто-нибудь придёт умыться. Но тут плевков Александры Геннадьевны, собравшись в каплю, сорвался с потолка и упал в ванну. Это и была та самая последняя капля, после чего вода затекла Серафиму Дмитриевичу Тахтырову в нос, наполнила лёгкие, и он захлебнулся.

На мгновение он ослеп

На мгновение он ослеп.

В линзы бинокля попали и тридцатикратно увеличились солнечные лучи. Несколько минут, чертыхаясь, Анатолий Дмитриевич массировал веки, пока не улеглись огненные футуристические пейзажи. Когда он прозрел, солнце уже провалилось в невесть откуда взявшиеся тучи и заморосил дождь. Под шинелью невыносимо парило.

– Ну, что скажете, корнет? – Анатолий Дмитриевич передал бинокль стоящему рядом юноше с нежным, как у сестры милосердия, личиком.

– Горят наши станичники, – незамедлительно отозвался корнет, поддельвая голос под бравый и стреляный.

– И вас ничто не настораживает? – Анатолий Дмитриевич в который раз прошёлся взглядом по знакомой до отвращения местности – река, а за ней череда коптящих овинов вперемежку с хатами.

– А что тут особенного, война есть война. Подождли, вот и горят. – Корнет расплылся в беспечной улыбке.

– С такими аналитическими способностями, – устало и потому особенно язвительно сказал Анатолий Дмитриевич, – вам, корнет, лучше бы оставаться дома возле сестёр и папан, а не соваться на фронт. Любая мелочь на войне имеет решающее значение.

Корнет подозрительно побагровел, и Анатолий Дмитриевич сразу же пожалел о своей резкости. «Чёрт, ещё расплачется», – подумал он.

– Вы Конан Дойла читали? – спросил он, уже смягчаясь. – Помните дедуктивный метод? Осмыслив существование капли, мы можем осмыслить океан, заключённый в этой капле, не так ли? Сегодня какой день?

– Четверг, господин поручик, – буркнул корнет.

– Вот, а горят станицы с воскресенья, – назидательно сказал Анатолий Дмитриевич. Он помолчал, будто в воспитательных целях, с отвращением понимая, что не может сделать из этого факта никаких здравых выводов. На ум ничего путного не приходило, только появилось какое-то навязчивое балалаечное треньканье в ушах. – Вы не обижайтесь на меня, голубчик. С самого утра в голове звенит и настроение отвратительное. – Анатолий Дмитриевич через силу улыбнулся. – У вас, случайно, выпить не найдётся?

Он поспешно взял протянутую флягу.

– Портвейн, – небрежно сказал корнет, – единственное, что было в этой ужасной корчме; я хотел, разумеется, коньяку взять...

– Не имеет значения, – поручик привычным движением взболтал содержимое, – как говорится, не будь вина, как не впасть в отчаяние при виде всего того, что совершается дома! – Жидкость по вкусу напоминала древесный спирт пополам с вареньем. Сжигая горло, он сделал два глотка. – Но нельзя не верить, чтобы такой портвейн не был дан великому народу! – Анатолий Дмитриевич благодарно кивнул, передавая флягу обратно.

– Ваше здоровье, господин поручик! – Корнет, очевидно, наученный недавним опытом, отхлебнул весьма осторожно, без лишнего гусарства.

Почти сразу прекратился дождь, и выглянуло бледное, как лилия, солнце. Анатолий Дмитриевич сгрёб кучку из жухлой травы и уселся на этот импровизированный пуфик. Корнет, чуть помедлив, плюхнулся рядом. Закатав рукав шинели, он принялся бережно разматывать посеревший от времени бинт на запястье.

– Никак не заживёт, гноится, – сказал он.

Под бинтом, с внутренней стороны, воспалилась свежая татуировка «За Бога, Царя и Отечество», выполненная старославянской вязью. Припухшие буквы, казалось, всего лишь повторяли причудливый контур вены.

«Зачем это?» – шевелилась в мозгу Анатолия Дмитриевича ленивая мысль, пока он не сообразил, что у него самого точно такая же татуировка. Он попытался вспомнить, кто из офицеров внёс эту пиратскую моду колоть на руке надписи, но так и не смог.

– Вы, знаете, к фельдшеру сходите, пусть он вам йодом смажет, – сказал вдруг Анатолий Дмитриевич. – У меня тоже, в своё время, долго заживало. Иглу хорошо дезинфицировали?

– В котелке кипятил, – хмуро сказал корнет, осторожно пробуя рану языком.

– Тогда странно, – поручик отвернулся и замолчал. «Боже мой, – с отвращением мелькнуло у него в голове, – откуда эта чудовищная пошлость? Татуировка, и весь наш разговор...» Вслух он сказал: – Вы лучше не слюной, а портвейном – какой ни есть, а всё-таки спирт.

– А я бы не догадался, вот спасибо, – спохватился корнет, отцепляя флягу.

– И в пробочку налейте, так удобнее будет...

– Благодарю... Кстати, господин поручик, не желаете ещё по глоточку?

– С удовольствием.

Корнет вытащил из кармана носовой платок и занялся обработкой раны. Намотав угол платка на палец, он обмакнул его в портвейне, а потом провёл мокрую полосу.

Анатолий Дмитриевич, у которого после второй пробы обуглились все внутренности, тупо рассматривал собственную руку, украшенную витым тёмно-фиолетовым лозунгом.

– «За Бога, Царя и Отечество», – с расстановкой прочёл он, – удивительное триединство высших категорий, одинаково конечных во времени и пространстве.

– Боюсь, что не могу полностью с вами согласиться, – прервал своё занятие корнет, – Бог бесконечен. Он – идеальный мир прообразов, Он – проявленный мир. – Корнет явно хотел похвастать знанием новомодных теософских веяний.

– Это вопрос гносеологического толка, корнет, – поручик чудовищным усилием подавил огненную отрыжку, – ваше или моё представление о Боге – не более чем некая мистическая идея, если хотите, способ, посредством которого Бог обнаруживается в нашем опыте. Допустим, существует реальный Бог с его сверхиндивидуальными качествами, и где-то далеко ютится ваше, предположим, верное представление о Нём и моё, неверное. Но всё дело в том, что мы оба оперируем только представлениями, а они, согласитесь – не суть Бог. Наш ум подобен кривому зеркалу, где отражаются сплошные иллюзии.

Превозмогая растущий в глубине желудка рвотный спазм, Анатолий Дмитриевич приложился к портвейну.

– Вы, господин поручик, – сказал корнет, провожая удручёнными глазами траекторию фляги, угол её наклона становился тревожно крут, – просто унижает беспредельность. Проблема в том, что луч божественной истины, проходя через призму человеческой природы, распадается на множество осколков, и – разрозненные – они лишь тени человеческого заблуждения. Разумеется, Земля относительно Космоса имеет свои границы. Но существует цепь планет, Солнечная система и так далее – в восходящем измерении. Величественная и вечная фантазмагория беспредельного бытия творится до бесконечности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.